

INSPIRIA

# МОРСКОЙ КОНЕК

ДЖАНИС  
ПАРЬЯТ

18+



INSPIRIA

# Джанис Парьят

## Морской конек

### Серия «Novel. Серьезный роман»

*Текст книги предоставлен правообладателем  
[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=66694534](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=66694534)  
Морской конек: Эксмо; Москва; 2021  
ISBN 978-5-04-161490-4*

#### Аннотация

Джанис Парьят – автор трех романов и сборника рассказов, за которые она получила национальную премию «Кроссворд» и статус «Молодой писатель года» от Академии Сахитья.

Специалист в области мировой культуры и литературы, она изучала писательское мастерство в Университете Кента, английскую литературу в Университете Нью-Дели и историю искусств в Школе востоковедения в Лондоне.

Неемия родом из провинциального индийского города. Родители отправляют его в столичный университет и фактически запрещают возвращаться домой после скандала, в который был вовлечен его друг Ленни.

Теперь Ленни заперт в психиатрической клинике, а Неемия – в собственном разуме.

Его будни заняты лекциями, студенческими вечеринками и размышлениями об искусстве.

Но встреча с Николасом, историком искусства, о котором говорит весь университет, меняет все. И последующие годы Неемия проводит между Дели и Лондоном, в попытках исцелиться от потери, призраков любви и воспоминаний о неидеальной юности.

«Дебютный роман Джанис Парьят – это пронзительный сюжет и лингвистическое совершенство. Размышления на тему искусства, любви и сексуальности – с полным погружением и страстью». – The Sunday Guardian

«Хорошо продуманный взгляд на гомофобию и человеческие отношения». – Kirkus Reviews

«Эта книга – о путешествии. Как вовне, так и внутри себя». – Scroll.in

«Нас формирует отсутствие. Места, которые мы не посетили, выбор, которого не совершили, люди, которых потеряли. Это как пространства между прутьями решетки, по которым мы переходим из года в год».

«Родители отправили меня в Дели. Они решили, так будет лучше. Они слышали о хорошем местном колледже, основанном на здоровых христианских принципах. Где можно учиться тем, кто, как я, приехал из мест, далеких от столицы, считавшихся неблагополучными и маргинальными. Меня отослали. Меня вручили Николасу на блюде».

# Содержание

I	7
II	80
Конец ознакомительного фрагмента.	93

# Джанис Парьят Морской конек

*A Luigi, tutto per te<sup>1</sup>*

*Песни мои, владычицы лиры,  
Какого бога,  
Какого героя,  
Какого мужа будем мы воспевать?<sup>2</sup>*

**Janice Pariat**  
**Seahorse**

\* \* \*

*Все права защищены. Книга или любая ее часть не может быть скопирована, воспроизведена в электронной или механической форме, в виде фотокопии, записи в память ЭВМ, репродукции или каким-либо иным способом, а также использована в любой информационной системе без получения разрешения от издателя. Копирование, воспроизведение и иное использование книги или ее части без согласия из-*

---

<sup>1</sup> Луиджи, все для тебя (ит.).

<sup>2</sup> Перевод М. Л. Гаспарова.

*дателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.*

Copyright © by Janice Pariat, 2014

By agreement with Pontas Literary & Film Agency

© Смирнова А., перевод на русский язык, 2021

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство „Эксмо“», 2021

# I

Все начинается *in medias res*.

С центрального эпизода.

Что является отправной точкой, если не фабула? Она может брать начало в середине чьей-то жизни, или в конце, или где-то между ними. Как часто мы бываем обмануты излишней аккуратностью. Несмотря на то что линейные конструкции создают формы, не существующие в природе, – идеальный квадрат или четырехугольник, четкие девяносто градусов, – мы должны помнить о сакральности круга, даже несовершенного, такого, как наша Земля, наше Солнце, наши истории – последние имеют свойство расширяться. Их мы передаем из поколения в поколение. В этом – все.

И на этом – все.

Так что я начну с того, как исчез Николас.

Минуту, когда я обнаружил, что он исчез, я помню так же точно, как будто это было вчера. Хотя, возможно, это не вполне корректное сравнение. Вчера может быть дальше, чем два года назад, чем семь или десять. Я не вспомню, что ел на ужин неделю назад, но это утро в моей памяти остается осязаемым, как прикосновение внезапной жары или обжигающего холода. Это вино, которое я пил так долго, что его вкус окрасил мои рецепторы.

Стоял июль, но день только начинался, и воздух был еще

мягким, и солнечные лучи, сверкавшие белизной по краям предметов, предупреждали, что будет жарко. Я приехал на вокзал Нью-Дели на рассвете, но даже в этот час он был битком забит снующими туда-сюда кули и спавшими на платформе семьями. Я поехал на такси домой, в свою комнату в северной части города, дороги были пустыми и тихими. Поехал через старый Дарьягандж, мимо широкого Радж Гата, мимо бледной ярости Красного Форта. Все казалось мне тронутым невообразимой красотой. После быстрого душа, смывшего грязь двухдневной поездки на поезде, я направился к бунгало Раджпура. Я торопился, поэтому срезал себе путь через лес. Подойдя к воротам, увидел, что охранника нет, нет и плетеных стульев, и столика на лужайке. По краям сада горели клумбы с раннецветущими африканскими маргаритками и выносливыми летними цинниями. Я помню, как поднимался по крыльцу, пыльный и осыпанный листьями, ощущая в сердце прилив чего-то похожего на любовь. Я толкнул дверь, она легко открылась. В бунгало было неподвижно и тихо, все на своих местах. Обеденный стол, сервированный, словно для призраков, расставленные тарелки и столовые приборы, гостиная, декоративные подушки, тщательно пропылесосенные ковры, композиция из засушенных цветов. Я направился прямо в спальню, ожидая найти Николаса спящим, запутавшимся в простыне, в своих снах. Терпеливый скрип вращающегося вентилятора над ним. Его запах в воздухе, сладкий и соленый запах с привкусом пота.

Его там не было.

Кровать была заправлена с геометрической точностью. Его вещи – запасные очки, перьевая ручка, расческа – пропали с тумбочки. Я прошел по коридору в кабинет. За все месяцы, проведенные в бунгало, я никогда не видел его таким безликим, лишенным деталей – разбросанных по полу бумаг, шатавшихся стопок книг на столе. Я искал картину, всегда стоявшую рядом с книгами – женщина держит зеркало, – но ее тоже не было.

Лишь когда я добрался до веранды, во мне что-то расколосось, и он ворвался, страх, который ждал своего часа. Аквариум в углу, эта яркая и законченная вселенная, был пуст. Николас исчез летом 1999-го, когда мне было двадцать, и я второй год как учился в университете. Хотя, наверное, это тоже стоит переформулировать. Он не исчез.

Он ушел.

Кто скажет, что это одно и то же?

Сперва я, как безумный, искал записку, хоть какое-то письменное объяснение – приклеенное к зеркалу, к двери, к стене. Прижатое книгой или безделушкой, чтобы его не сдуло.

А потом сел на веранде и стал ждать. Чего именно, до сих пор не понимаю.

За моей стеной была полка с небольшой коллекцией ракушек и камней, справа от меня – просторный диван, покрытый богато вышитым покрывалом. Рядом – высокая паль-

ма арка с острыми, как ножи, листьями, тихо увядающими. Дневной зной яростно пробивался сквозь решетчатое окно-джали, свет становился тусклым и слепил. Я не включил вентилятор, не спрятался в тени.

Позже, около полудня, устав сидеть в нависшей густой тишине, я ушел.

На этот раз я проделал долгий путь, вернувшись в свою комнату в студенческом общежитии в университете Дели, брел вдоль главной дороги, желая, чтобы шум и движение как-то вернули меня к жизни. Чтобы все это, как бы банально ни звучало, оказалось лишь сном.

Сперва мне показалось – это как в тот раз, когда я узнал о Ленни. Когда много месяцев назад услышал по телефону голос сестры, слабый и сдавленный: *мне так жаль... были сложности...*

Но это была не смерть.

Потому что смерть оставляет после себя что-то: скромное имущество, нажитые пожитки, книги и украшения, расческу, зонтик. Ленни был моим другом, у меня остались его письма, его записи на пленку, его кассеты и – в глубинах шкафа у меня дома – его сложенная, выцветшая кожаная куртка.

А Николас ушел так, будто его никогда не существовало. Ни одна жизнь не может просто оборваться и не оставить после себя отпечатков.

Но их не осталось. Сильный прилив обрушился на берег,

смысл дочиста все следы.

День прошел, как остальные. В комнате я разбирал вещи – носки в ящик, книги на полку, шлепанцы под кровать, – не чувствуя ни злости, ни отчаяния, лишь слабое, затянувшееся ожидание. Что-то еще должно было случиться, на этом не может все закончиться. Это не конец. Я получу письмо. Николас вернется. Кто-то постучит мне в дверь и скажет, что мне был звонок.

Сообщение. Объяснение.

Этой ночью я лег спать, полный надежды.

И даже теперь порой просыпаюсь, чувствуя, как она обви-лась вокруг моего сердца.

Нас формирует отсутствие. Места, которые мы не посетили, выбор, которого не совершили, люди, которых потеряли. Это как пространства между прутьями решетки, по которым мы переходим из года в год.

Николас и Ленни, хотя находятся в разных мирах, неразрывно связаны. Они – по разные стороны диптиха, наполненного именами живых и мертвых.

Может быть, поэтому люди и пишут.

Потому что мы всегда, постоянно, на грани потери, которую невозможно вообразить. И это осторожное расположение строчек – возможность сказать: «пусть это навсегда останется здесь».

*Все цело, и все застыло в неподвижности – сияющее, вечное.*

Возможность бросить вызов памяти, смутной, склизко-скользящей, наполняющей настолько же, насколько и опустошающей. Складывая эти слова, я вспоминаю вот что.

Впервые я увидел Николаса в комнате, напомнившей мне об аквариуме. Приглушенный свет, проектор, мигающий, как старая кинолента. Солнечный свет сочился сквозь занавески в зеленый полумрак. Воздух был холодным и приглушенным, где-то гудел кондиционер, задававший ритм дыханию и жизни. Шел разговор.

– Какие могли быть последствия? – спросил оратор. – Если бы Александр добился успеха? Если бы он без препятствий преодолел Индийский субконтинент в четвертом веке до нашей эры? Безусловно, невероятные социальные и политические изменения. Но я скажу, что наиболее впечатляющее влияние это оказало бы на другую сферу.

Я был поражен его формой. Его формами. Фигура, высеченная из света, росла, когда он приближался, и уменьшалась, когда уходил. Он улыбнулся.

– На искусство.

Я оказался здесь по случайному совпадению. Это был один из тех дрейфующих дней в кампусе, когда полдень отражал небо – бескрайнее и пустое. Я оставил своего соседа по комнате, Калсанга, стоять у окна и курить косяк. Как и деревья за окном, Калсанг состоял из веток, прутьев и переплетений. Длинноногий, длиннорукий тибетец с медленным, томным, как ленивое воскресенье, голосом. За глаза

его звали Скалой – в честь Скалы Гибралтара; этот титул он получил за то, что неоднократно пытался сдать экзамен по химии и каждый раз проваливался. Он был странным образом рассинхронизирован с миром и был значительно старше меня.

– Ты точно не хочешь? – он протянул мне изящно скрученный косяк. Я точно не хотел. Меня ждала лекция. О Сэмюэле Беккете и символизме. Это, возразил Калсанг, еще больший повод принять его предложение.

Уже не помню, по какой причине – может быть, лекцию отменили? – я обнаружил, что бесцельно брожу по зданию колледжа. По коридорам из красного кирпича, разделенным квадратами света и теней, по аудиториям, мрачным, как церкви, среди опустевших деревянных стульев и столов. Слева от меня, за аркой, разворачивалась длинная лужайка, заросшая травой, пожухшей за зиму, окруженная сидящими понишками статуями. Порой к краю каменной дорожки сновали белки, скворцы опускались на нее ради недолгой прогулки, но сейчас она была пуста и ясно сияла в солнечном свете. Я прислонился к колонне. Если бы я наклонился и поднял глаза, я увидел бы кубическую башню, которая рвалась в небо, башню с крестом и звездой наверху. По обеим сторонам здания раскинулись длинные крылья, как у низко летящей птицы. За живой изгородью кампуса колледжа, за дорогой, звеневшей колокольчиками рикш, расстилался парк Ридж-Форест, его пологие холмы простирались до са-

мого Раджастана. Линия жизни Дели, его легкие, полные дождя, полные жизни, его последняя тайна.

*В лесу, сказал мне однажды Ленни, время как бы в ловушке.*

Воздух в конце лета нависал жаркой тяжелой пеленой, припудренной густой оранжевой пылью. Солнце Дели, как бы это ни противоречило древней истории города, было юным, грубым и дерзким – оно набрасывалось на камни, на короткую жесткую траву. Если я о чем-то и грустил, вспоминая родной дом среди холмов – а честно говоря, грустить там было не о чем, – так это о погоде. О бесконечных днях, полных тумана и блестящего дождя. Здесь были долгие месяцы изнуряющей жары и короткие, сухие зимы.

Оглядываясь назад, я думаю, что лучше бы принял предложение Калсанга. У него всегда была в запасе отличная трава, а не та, которая сводит людей с ума. Я, конечно, слышал истории о различных выходках в общежитиях, связанных с наркотиками. Этот фольклор передавался из уст в уста, год за годом, собираясь в архивы и обрастая новыми впечатляющими подробностями. Например, о парне, который три дня без перерыва повторял свое имя – Карма-Карма-Карма, – потому что ему казалось, что если он замолчит, то перестанет существовать. Или о том, как убойная смесь травы, дешевого клея и еще более дешевого алкоголя убедила одного экономиста в том, что он может летать. Он бросился с балкона и приземлился на клумбе, уделавшись грязью, но только чудом

не искалечившись. Другой съел три дюжины омлетов в соседней придорожной дхабе. (Владелец, Моханджи, говорил, что этот негодяй все еще должен ему денег.) Совсем недавно особенно мощная смесь из Манали заставила историка, живущего этажом выше, поверить, что он может видеть призраков. Они болтаются у наших кроватей, сказал он, и наблюдают за нами, пока мы спим.

Теперь я вынужден был провести остаток дня бесцельно и, что еще хуже, в абсолютно здравом уме.

Нагретый солнцем каменный стол чуть жег мою руку. Чтобы передохнуть от жары, я обычно шел в библиотеку, прохладное помещение на уровне подвала, где находил себе угол, читал или, чаще, дремал. В тот день библиотека была «закрита на техническое обслуживание», хотя внутри, похоже, не проводилось никаких работ. Я ушел, слегка разочарованный, но дверь дальше по коридору, ведущая в кабинет с амбициозным названием «Конференц-зал», была слегка приоткрыта и пропускала поток поразительно холодного воздуха. Это бывало лишь в исключительных случаях, и, очевидно, в зале проходило что-то по-настоящему важное, раз оно требовало такой роскоши.

Я проскользнул внутрь и нашел себе место с краю последнего ряда. Передо мной сидело удивительно много студентов, в первых рядах – несколько профессоров. Голос оратора был низким, отчетливым, как птичье пение, с резким британским акцентом.

– На протяжении веков Будда был представлен неканоническими символами... отпечатки его ног, дерево Бодхи, лошадь без всадника, колесо дхармы, пустой трон... как изобразить бесконечное, безграничное? Раннее буддийское искусство сформировалось благодаря отсутствию. Верующие оказались лицом к лицу с «ничем». Некоторые ученые утверждают, что антропоморфные изображения Будды появились лишь после переселения греков в Южную Азию. – Оратор указал на карту, спроецированную на стену, прямоугольное окно светилось белым неземным светом. – По сути, искусство, созданное в регионе Гандхара в эллинистический период, черпало свое содержание из индийского мистицизма, в то время как форма была формой греческого реализма. Конечно, это могло произойти исключительно по экономическим причинам. Гандхарой правили кушанские цари, и это был богатый регион благодаря своему положению на Шелковом пути... Так монахи и миссионеры путешествовали с предметами роскоши, а с ними путешествовал и Будда в человеческом обличье, возможно, потому, что изображение помогает в обучении, преодолевая языковые барьеры. Но разве дело только в этом? Что за желание очеловечить наших богов? Сделать их по своему образу и подобию...

В мерцающей темноте я внимательно наблюдал за ним. У него было такое лицо, что мне хотелось дотянуться и коснуться. Широкое, но не грубое, с четко очерченными скулами, оттененными щетиной. Прямой нос, высоко располо-

женный между широко расставленными глазами. Я подался вперед, пытаясь понять их цвет – но за очками и на таком расстоянии это было невозможно. Его блестящие и густые темные волосы волнами обрамляли лоб, виски, уши.

Он ни на миг не оставался в неподвижности.

Там поморщиться, тут коснуться, шаг вперед, несколько назад. В ком-то другом это могло выдавать беспокойство, нерастраченную энергию, но его движения были – лучшего слова я не подберу – безмолвными. Безукоризненными. Невероятно элегантными. Высокий, жилистый мужчина, словно на проволоке грациозно скользивший по воздуху.

Я никогда не видел никого похожего на него. Или одетого, как он. Светло-серая рубашка с воротником-стойкой, закатанная у рукавов, приталенные красновато-коричневые брюки, черный кожаный ремень. Я решил, что он не выходит из комнаты с кондиционером; по-другому летом в Дели оставаться таким безупречным невозможно.

Карта на стене мигнула, сменившись изображением каменного изваяния, древнего, в трещинах.

– Одна из множества работ, какие французский историк Альфред Фуше обнаружил во время своих экспедиций в Шахбазгархи с 1895-го по 1897-й.

Статуя, по всей видимости, служила ритуальным целям – складки, искусно изображавшие настоящую ткань, обвивали стройную талию, спадали до ног в сандалиях. Вырезанные орнаменты покрывали обнаженный торс, над головой в тюр-

бане располагался нимб, напоминавший полную луну.

— Мы склонны инстинктивно расшифровывать смысл фигуративных скульптур посредством инструмента, которым в жизни пользуемся, может быть, бессознательно, но постоянно, — оратор приблизился к аудитории. — Кто скажет мне, как называется этот инструмент? Наука, изучающая язык тела?

— Кинестетика, — сказал Адхир, студент последнего курса исторического факультета, юноша с бледным артистическим лицом и, несмотря на то, что ему было не больше двадцати лет, седыми волосами.

— Верно... может быть, вы уже об этом слышали, но фигуративная скульптура служит одной цели: захватить тело и похитить жизнь. Так и есть, но не всегда, — он повернулся, оценивая изображение. — Наука может определить, что бодхисатве, найденной Фуше, более тысячи лет, что она вырезана из серо-голубого сланца, родом из области, где сейчас находится север Пакистана... Но как ее *прочитать*?

Прозвучало несколько замечаний: статуя безмятежна, застыла в молитве, подняла правую руку, благословляя.

— Все верно, несомненно, но ключ к истинному открытию изображения даст иконография... это слово происходит от греческих «иконос», образ, и «графо», писать. Если литература зависит от медленного ритма слова, то иконография полагается на быстрый ритм глаза. Художник берет сложную временную последовательность событий и воплощает в образ... и он удерживает все. Каждая деталь, от пылающего

нимба до орнамента на теле, выполняет роль клея. Например, рука бодхисатвы зафиксирована в *абхайя мудре*, жесте бесстрашия. А это, – он указал на пальцы статуи, которые (сначала я этого не заметил) были перепончатыми, – связано не с земноводными, а указывает на сверхъестественную силу. Если вы приглядитесь к тюрбану, вы заметите на нем маленькую фигурку Гаруды, мифического птицеподобного существа, одетого в *нагу* – набедренную повязку.

– Почему так? – спросил Адхир. Оратор пожал плечами.

– Мотив скорее всего связан с греческим мифом о похищении Ганимеда Зевсом в образе орла. Он широко распространен в древнем искусстве Южной Азии, но в этом контексте его значение остается загадкой.

Помню, что в конце разговора я ждал, когда зал, наполненный ярко-белым светом ламп, опустеет. Оратор обвел глазами комнату, и я подумал – интересно, заметил ли он меня, ссутуленную в углу фигуру в потертых джинсах и футболке. Он сложил свои бумаги в старомодный чемодан и пошел к профессору, ожидавшему у двери. Они ушли. До меня донеслись обрывки разговора. Смех. Кто-то выключил свет, и комната вновь погрузилась в водянистую темноту.

Потом я увидел на доске объявлений приколотый листок – он, как пророк из прошлого, сообщал о мероприятии, которое я уже посетил. Организованное кафедрой истории выступление искусствоведа, доктора наук Николаса Петру.

Николас изучал искусство, Ленни его творил.

Или же мне просто хочется в это верить, пусть даже он сам не спешил наклеивать на себя такой ярлык. В нашем родном маленьком городе, как в сотнях других маленьких городов Индии конца восьмидесятых, было мало места для воображаемого и абстрактного. Неуловимого и материального. Наши возможности неизбежно ограничивались медициной, инженерией или государственной службой – безопасная, стабильная карьера, длинные узкие лестницы, ведущие к лучшему будущему. Поиски спокойствия, а не смысла или того, что греки называли *эвдемонией*, «человеческого процветания» – и, особенно в пуританских кругах, к какому принадлежали наши семьи, не удовольствия. Ленни не решил связать свою жизнь с творческой профессией, но я помню, с какой легкостью, без усилий творили его ловкие руки. Он рисовал портреты незнакомцев, сидя в придорожных чайных, рисовал на клочках бумаги и салфетках. Быстрое, легкое прикосновение – и меньше чем через минуту портрет был готов. Он складывал из бумаги птиц, они выстраивались у него на подоконнике, тоскующие по небу. Играл на гитаре так же легко и непринужденно, тихо и мелодично напевая.

Месяц назад я побывал в лондонской Национальной галерее, на ретроспективе Люсьена Фрейда. Человека, рисовавшего только портреты. Залы, заполненные лицами – безумными, обиженными, равнодушными, влюбленными. Жизнь, прожитая в попытках запечатлеть все человечество, его ми-

фы и слабости, беспощадно упорными попытками. Я следил за глазами, глаза следовали за мной. Картины обычно не связаны друг с другом, но не в этом случае. Все полотна были грубыми, примитивными. Были кожей, обвисшей, в отметинах и шрамах. Рисуя людей, он забирал их душу.

Набросок, который Ленни прислал мне перед смертью, мог быть сделан Люсьеном Фрейдом. Вот почему мне нравится думать, что он был художником, и может быть, если бы он прожил подольше, он бы тоже это осознал.

Вместо этого он поступил по настоянию родителей на какую-то кафедру – зоологии? биологии? – в колледж нашего родного города. Однако я не видел, чтобы он хоть раз посещал занятия, или выполнял задания, или вообще рисковал приближаться к учебному заведению любого рода. Он занимался тем, что особенно злит всех без исключения родителей – он дрейфовал.

Я знал Ленни всю свою жизнь. Мы росли по соседству, хотя он был старше и сдружились мы не сразу, уже когда мне было четырнадцать. Как ни странно, благодаря баскетбольной площадке. Одной из тех полуразрушенных общественных спортивных площадок, где по вечерам собирается молодежь, потому что ей больше нечего делать. Я в основном бродил вокруг, делал вид, будто слежу за матчем, и смотрел, как играют большие мальчики, прыгавшие так, словно у них на ногах крылья.

Однажды появился Ленни и объявил, что это самая глупая

игра, какую он только видел.

– Ну а ты чем занимаешься? – спросил он меня. – Сидишь тут и смотришь, как эти ребята носятся вокруг рыжего мяча?

– Ну, иногда.

– А сам играешь?

Я подумал, что врать бесполезно.

– Нет.

Он зажег сигарету, откинул голову назад. Его лицо, казалось, слепил небрежный скульптор: неровный нос, грубый подбородок, узкие плоские скулы. Он пах дымом и сосновым лесом, чем-то диким и неизученным.

Он ничего не сказал, пока не докурил сигарету, не бросил на землю и она, померцав немного, не погасла.

– Пошли.

И я пошел.

До Ленни я был подстроен под точное, как часы, расписание моих родителей. Дни недели были заполнены уроками и домашней работой, которые перемежались с визитами к бабушке и дедушке по субботам и церковными службами по воскресеньям. Рядом с ним время теряло значение. Разжимало хватку и медленно катилось, как морские волны. Он брал напрокат в городском кинотеатре кассеты и смотрел одну за другой – ему даже не приходило в голову перестать, потому что уже слишком поздно или рассвело. Или часами гулял по незнакомым районам на другом конце города. Часто уезжал на своем старом мотоцикле в сельскую местность,

смешивался с немногочисленными ее жителями. Он ел, когда был голоден, спал, когда чувствовал себя усталым, просыпался где-то между полуднем и вечером. Он был вне времени. Вытеснен из него, как современный Титон, бредущий по тихой границе мира.

После школы или по выходным я мчался в комнату Ленни. Она располагалась на цокольном этаже, под узкой лестницей, пройти по которой можно было лишь снаружи дома. Слабо освещенная, странной формы комната с выступающими стенами и резкими углами, почти голая, не считая односпальной кровати, письменного стола и шкафа. В углу висела деревянная полка, готовая вот-вот сломаться под тяжестью книг – некоторые из них были такими старыми, что рассыпались на чешуйки. Они раньше принадлежали жильцу наверху, старому джентльмену из Бенгалии, который умер холодной зимней ночью и этим поставил семью Ленни в неловкое положение – им пришлось упаковывать его пожитки и раздавать нуждавшимся, потому что у него не было родственников ни здесь, ни, насколько знала семья Ленни, где-то еще. Ленни убедил родителей оставить у себя библиотеку – эклектичную коллекцию, куда вошли и совсем неизвестные книги (Собрание писем Генри Дж. Уинтеркасла) до довольно ценных для коллекционеров («Повесть о двух городах» 1895 года издания). Я помню, как держал их в руках, толстые и тяжелые, и их чуть затхлый запах, напоминающий мне о Ленни, когда я вхожу в букинистический магазин.

По выходным мы отправлялись на прогулки в сосновый лес за его домом, курили дешевые сигареты, сидели на мшистых камнях или, если месяц выдавался сухой, лежали на земле, среди корней деревьев и изгибов земли. Все внезапно переворачивалось – тишина, трава под моей шеей, пятнистое небо сквозь путаницу сплетенных веток и хвойных игл. Мы говорили, или скорее он говорил, а я слушал. Его голос тек, как поток. Книга, которую он прочитал. Фильм, который он посмотрел, о человеке, которого по ошибке заточили в тюрьму. Цитата, которая ему понравилась. *Знаешь, что говорят мексиканцы о Тихом океане? Они говорят, у него нет памяти.* Стихотворение Одена<sup>3</sup>. Его любимое. *Все, что не мы, смотрит в ответ на все, что мы есть.* Или молчали. И если мы молчали и не шевелились достаточно долго, лес вокруг нас оживал. словно кусочки неба, к нам слетались длиннохвостые голубые сойки. Стайка игривых воробьев решалась подобраться поближе. Облака замирали и тянулись. Я чувствовал себя тяжелее и легче, убаюканный падавшими сосновыми иголками, ощущавший под пальцами их гладкую шелковистость. Крошечные муравьи щекотали мои пальцы, карабкаясь по ним. Для них я был корнем дерева и камнем. То тут, то там вдруг взлетали стайки желтых бабочек. Мы были вплетены в ткань весеннего полудня.

В другие дни, которые были холодней и короче, Ленни брал меня в кафе, разбросанные по всему городу, у оживлен-

---

<sup>3</sup> Выдающийся англо-американский поэт (1907–1973).

ных рынков, у деловитых главных дорог. Мы макали рисовые лепешки в маленькие потресканные чашки с горьким чаем и смотрели, как толпа вокруг нас то растет, то редет. Люди, грубо одетые и грубо говорившие, мясники и строители, рабобатавшие руками (те, кого не одобряли мои родители, говорили, что они «не нашего сорта»). Порой мы уходили прочь от шума центра и брели мимо автостоянок и газетных киосков, пекарен и аптек, пока не проскальзывали в узкую улочку между грязным каналом и кирпичной стеной здания. Ее гладкость прерывалась отверстием, ведущим в треугольное кафе, где был только один зал и где всем заправляла женщина с пожилым лицом и молодыми глазами. Она доверху накладывала нам еду, до краев наполняла чашки чаем и звала Ленни «моя бабочка». Я не мог понять их шуток – их речь искрилась намеками.

– Сколько слив ты недавно съел? – спросила она однажды Ленни. Я напомнил им, что еще не сезон. Оба расхохотались, и я не мог разделить с ними их веселье. Но мне было приятно проводить время с ними, чувствовать себя причастным к миру взрослых и, может быть, влюбленных людей.

Еще чаще непрекращавшийся дождь не давал нам выйти на улицу, и мы сидели в комнате Ленни. Читали, играли в своего рода дартс, бросая дротики в огромную карту мира на стене – лоскутное одеяло между плакатами с длинноволосыми музыкантами в белых жилетах и узких кожаных штанах. Ленни целился в Южную Америку – потому что, говорил он,

ему нравится ее дикость – и попадал обычно в Тихий или Атлантический океан. Я метился в Англию – он называл меня скучным – и оказывался в Северной Америке или глубокой синеве Средиземного моря. Мы кидались дротиками в другой конец комнаты, лежа на его кровати, и мне приходилось подниматься и собирать их.

– Мне надо выбираться отсюда, Нем, – говорил он мне, метясь в Бразилию.

– Выберешься, – преданно отвечал я, потому что искренне верил, что он может достичь чего угодно.

Долгое время я думал, что дело в этом. Вот причина нервозности Ленни. Его резкой смены настроения и внезапных исчезновений. Дней, когда он не разрешал мне составить ему компанию.

– Куда ты идешь? – спрашивал я, и он не отвечал, отправляя меня домой.

– Иди делай уроки.

В такие дни он не разрешал мне даже заглянуть в его комнату. Потом я замечал грязь на колесах его мотоцикла, его обуви, потрепанных краях его джинсов.

Я думал, что дело в этом.

В том, что наш маленький городок был таким маленьким, в его мягкой фамиллярности и тихой, пугающей скуке.

Но как мы можем полностью понять других? Как мы можем ориентироваться среди комнат, построенных в их сердцах? Среди шепота, слышного только им? Что для них лю-

бовь? У каждого свои вмещающие ее рамки. Мы – разные миры, освещенные странными солнцами, отбрасывающими неузнаваемые тени. В конце концов, мы следуем за призраками, видимыми только нашим глазам.

*Мне надо выбираться отсюда, Нем.*

Думаю, именно это Ленни и сделал. И у него не осталось надежды на возвращение.

Спустя несколько недель после того, как я узнал о Ленни, мы с Николасом пошли в бар в Модел-Тауне, районе неподалеку от университета, состоявшем из многоквартирных домов, выстроенных вокруг озера. Мы взяли авторикшу и добрались сюда сквозь поток машин, скользя между громоздкими автобусами, гудящими машинами и пешеходами, которые вываливались на дорогу с тротуаров, заваленных мусором и брошенными стройматериалами. Некоторые районы Дели жили в постоянном хаосе, и в тот вечер я был этому рад. Бар располагался в сомнительном квартале Модел-Тауна, возле дороги, носившей лишенное воображения название Вторая Главная. Люди сновали туда-сюда, замирали у киоска с пааном<sup>4</sup> и сигаретами. Как они смотрели на нас – странную пару, высокого белого иностранца и его низкорослого спутника, с виду такого же чужого!

В зале висело низкое облако дыма. Посетители, в основном средних лет и только мужского пола, сидели за столи-

---

<sup>4</sup> Жевательная смесь: листья бетеля с наполнителем (орехами, кокосовой пудрой, сахаром и т. д.).

ками, занятые своими напитками и тарелками с блестящей курицей тикка масала<sup>5</sup> и кебабами. Не помню, что мы пили, но это отличалось от того, что пили в колледже, чтобы по-быстрому надраться – паршивое пиво «Хейвордс 1000» или убийственно кислый виски «Бинни Скотт». Вскоре я потерял счет стаканам. Бар стал теплым коконом. Маленькой планетой, стремительно летевшей в космосе навстречу свободному падению. Огни стали ярче и одновременно темнее, воздух пульсировал в ритме музыки, доносившейся со всех сторон.

*Я знаю, кто убил Ленни.*

Мне показалось, что я услышал, как я говорю эти слова, но я не был уверен. Николас накрыл мою ладонь своей. Его не убили, сказал он.

*Его убили.*

– Твоя сестра объяснила... были сложности...

*Его убили.*

Голос в моей голове был непреклонен.

– Почему ты так говоришь, Неемия?

Я молчал.

Он повторил вопрос.

Мне очень хотелось убедить его, но я не мог собраться с мыслями, чтобы объяснить.

Искусство – консервация, но в то же время оно – призна-

---

<sup>5</sup> Курица, замаринованная в густом соусе с большим количеством пряностей и специй.

ние.

Несколько лекций моих студенческих времен навсегда останутся со мной – курс, посвященный языку синестезии Д. Г. Лоуренса, сложности наложения времени Вульф, бурное осуждение мира Исмаил Чугтай<sup>6</sup> – и, как правило, читал эти лекции профессор Махесар. Небольшого роста, полноватый профессор, отличавшийся острой, как бритва, артикуляцией. Его кабинет находился наверху здания колледжа, на открытой плоской крыше, и окна выходили на лужайки и деревья, где по вечерам звучали крики попугаев. Летом это было невыносимо, кабинет становился крошечной, беспощадной печью, и редкое дуновение ветерка было счастьем.

Однажды утром мы обсуждали «Любовную песнь Дж. Альфреда Прюфрока»<sup>7</sup>. Мы смотрели, как капли пота выступают на лбу профессора Махесара и тихо стекают по контурам его лица. Мы, склонившись рядом над аннотированным Т. С. Элиотом, тоже потели – запах наших тел витал в воздухе, едкий, как резаный лук. В прошлом году в таких же душных условиях профессор Махесар бросил книгу на стол и заявил – я сдаюсь. Он сказал, что не в силах читать «Сравню ли с летним днем твои черты»<sup>8</sup> и не рухнуть под тяжестью

---

<sup>6</sup> Индийская писательница (1915–1991), работы которой посвящены в основном темам феминизма, женской сексуальности, а также классовых конфликтов, обычно с точки зрения марксизма.

<sup>7</sup> Первое опубликованное (в 1915 году) стихотворение Т. С. Элиота (1888–1965).

<sup>8</sup> Начало 18-го сонета Уильяма Шекспира.

иронии.

Естественно, он был нашим самым любимым преподавателем.

В тот день мы тоже надеялись на подобный исход, потому что в стихотворении упоминался туман и холодные зимние вечера, но этого не случилось.

– Как начинается стихотворение? – спросил он, держа книгу перед нами, как зеркало.

Голоса забормотали: *Ну что же, я пойду с тобой, Когда под небом вечер стихнет, как больной...*<sup>9</sup>

– Нет, неправильно.

Повисла сконфуженная тишина. Наконец девушка в первом ряду ответила:

– Оно начинается с эпиграфа.

– Спасибо, Амея. Да, оно начинается с эпиграфа.

– Вы имеете в виду ту часть, что мы не понимаем, – сказал кто-то с последнего ряда.

– Да, Ноэл. Часть, написанная на итальянском, который, если вы о нем слышали, является восходящим к народной латыни романским языком, широко распространенным в Европе.

Студенты захихикали.

– *S'io credesse che mia risposta fosse, a persona che mai tornasse al mondo...* Я уверен, среди нас найдется тот, кто сможет дословно перевести эти строки.

---

<sup>9</sup> Перевод А. Я. Сергеева.

Воцарилось глубокое, решительное молчание. Профессор медленно перевел.

– «Если бы я мог представить, что мой ответ может видеть человек, который вернется в мир, этот язык пламени перестал бы мерцать. Но поскольку из этих глубин никто не вернулся живым, если то, что я слышу, правда, я отвечу без страха быть пристыженным». Как видите, стихотворение начинается с обещания хранить тайну, связывающую души умерших с вашими. – Он положил книгу на стол и вытер лоб большим белым носовым платком. – Как вы думаете, почему это звучит как признание?

Класс молчал, пустой, как доска за спиной профессора.

– Потому что такова психология тайны, – объяснил он. – У людей есть примитивная и неодолимая потребность разделить свой эмоциональный опыт с другими. Признание может вылиться в форму писем, заметок, дневников или, как в данном случае, целое стихотворение.

Долгое время я не мог рассказать Николасу, кто убил Ленини. Мне казалось, я дал обещание хранить тайну, связывавшую его душу с моей.

Может быть, это было совпадение, как обычно и бывает, но после дискуссии в конференц-зале я стал часто замечать Николаса в кампусе. Заметить его было не так уж сложно, поскольку он был одним из немногих в округе людей кавказской внешности, хотя надо признать, что в университете Дели было немало других эксцентричных белых. Француз-

ский социолог, который ездил на велосипеде и носил азиатскую шляпу (некоторые говорили, что так он и приехал в Индию из Парижа), англо-индийский преподаватель литературы, который никак не мог вспомнить, кто что написал, и получил прозвище «Ода Шелли к соловью»<sup>10</sup>, биолог из Германии, варивший кофе в сложном лабораторном аппарате. Но объектом горячего любопытства стал именно Николас.

Часто он приходил в комнату отдыха, где собирались высокопоставленные ученые, общался с другими профессорами, выделяясь среди седых джентльменов и нескольких чопорных дам в шальварах или сари своей молодостью и одеждой. Светлые рубашки из невероятно тонкого хлопка, всегда безупречно выглаженные, брюки строгого кроя, стильные туфли. Просто, но трудно имитировать; все, что я мог позволить себе купить на рынке, выглядело – иначе не скажешь – дешево.

Иногда он бездельничал в кафе колледжа, бесконечно долго пил чай, писал что-то в черной тетради, лакомился котлетами из фарша и тостами с маслом. Иногда читал на краю лужайки, под густой сенью священных деревьев.

Я наблюдал за ним, следил за его передвижениями, ждал, когда он посетит кампус. Как, я подозреваю, ждали и многие другие студенты. И не только потому, что он был белым и

---

<sup>10</sup> «Ода соловью» – произведение английского романтика Джона Китса (1795–1821). Перси Биши Шелли – поэт, один из классиков британского романтизма (1792–1822).

почти незнакомым.

В нем было что-то захватывающе загадочное. По крайней мере, так все считали. До меня доходили обрывки слухов: что он был новым преподавателем, недавно начавшим работу на факультете, что он был приглашенным ученым из Кембриджа. Кто-то полагал, что он приехал сюда с целью исследований, которые проводил в Национальном музее.

Среди студентов, особенно девушек, он вызывал особый интерес; они пытались привлечь его внимание. Некоторые утверждали, что дружили с «Ником», что он уделял пристальное внимание их теориям о самых ранних образных изображениях Будды.

Иногда в коридорах и на лужайках я видел его с Адхиром. И, каким бы странным это ни казалось, меня обжигала ревность. Что Адхира выделили из числа остальных. Его, а не меня. Хотя казалось невозможным, даже немыслимым, что я могу близко общаться с историком искусства.

Я был во всех отношениях непримечательным человеком. И ощущал себя таковым. Когда-то я читал об Итало Звево, итальянском писателе девятнадцатого века, героев которого часто характеризуют как *uomini senza qualità* – людей без качеств, людей непонятных, пресных, бескровных, в каком-то смысле не вписавшихся в этот мир. Я подумал, что так можно сказать и обо мне.

Когда я смотрел в зеркало, мне хотелось занимать больше пространства, хотелось, чтобы мое отражение было чуть

более существенным. В колледже я не был болезненно тощим, не был слабаком – я часто играл в футбол, – но был просто... незначительным. Изучая свое лицо, когда я умывался, я понимал, что ничего не изменится, что они останутся – косившие, невыразительные глаза, крошечный нос, наминавший скорее точку, чем восклицательный знак. Рот, похожий на раздавленный фрукт.

Помимо всего этого, у меня не было причин обратиться к историку искусства. И даже если была бы, я не сомневался, что мне не хватит смелости. И почему бы не Адхир? Его как раз можно было выделить из числа остальных. Я слышал, он был родом из королевской семьи в Индоре. Он носил длинные, свободного покроя рубахи, развевавшиеся вокруг его тела, как паруса на ветру. Адхир был среди нас самым искушенным (хотя мы в те времена называли это претенциозностью). Пока мы слушали «Лед Зеппелин» и «Роллинг Стоунз», из его комнаты доносились насыщенные, трагические звуки раги – классической индийской музыки. Пока мы продирались сквозь тексты Сэлинджера и Камю – как и прошлое поколение, мы высоко ценили «Над пропастью во ржи» и «Постороннего» – он утверждал, что прочитал всего Кришнамурти, всего Кабира<sup>11</sup>.

Многие смеялись над тем, что Адхир «другой». Во многих отношениях. Одна из его странностей, по их мнению,

---

<sup>11</sup> Джидда Кришнамурти (1895–1986) – индийский духовный оратор. Кабир (1440–1518) – средневековый индийский поэт-мистик.

стала причиной, почему его сосед по комнате попросил его переселить.

– Может быть, – предположил я, – они не сошлись характерами.

Ответом мне стали недоверчивые взгляды. *Ты идиот.*

Но в чем я не сомневался, так это в том, что непримечательным Адхир точно не был.

Спустя месяц я кое-как справился со своим интересом. Хотя трудно было не слышать приглушенный шепот, которым обсуждали Николаса, роясь вокруг его имени, как пчелы. Однажды у кафе, где студенты обычно собирались покурить, я услышал его имя в разговоре. Две девушки болтали за бокалами лимонной воды. Одну, с короткими волосами и кольцом в носу, я видел в прошлогодней студенческой постановке «Сна в летнюю ночь». Она играла Титанию, королеву фей, возмутила комиссию и взволновала всех остальных своим библейским костюмом, состоявшим лишь из нескольких цветов и листьев. Ее спутница, тонкая, гибкая девушка с гладкими прямыми волосами и бледным миндалевидным лицом, приехала из моей части страны. На севере таких называют «китаезами». Она училась на год младше, изучала английский, и хотя мы ни разу не перемолвились ни словом, я знал, что ее зовут Лариса. Я купил самсу в киоске поблизости, где также продавали разбавленный лимонный сок, и сел неподалеку, чтобы можно было подслушать.

– Он британец, но греческого происхождения, – сказала Титания. – Во всяком случае, так он заявил Прии.

Я не знал, правду ли они говорят, но этим объяснялась оливковая кожа и темные волосы.

– Греческий бог, – ее подруга хихикнула.

– Думаешь? Ну, он высокий и все такое... но, если честно, не мой типаж.

– Да, потому что тебе по душе тощие бродячие артисты.

Обе девушки рассмеялись. Я впился зубами в самсу, и кусочек теста выскользнул у меня из рук, освободив мягкую начинку из картофеля и гороха. Она дымилась на бумажной тарелке, тамариндовый соус темнел по краям.

– Надо пригласить его на домашнюю вечеринку, – предложила Титания. – Уверена, кто-нибудь такую планирует.

Ее подруга приподняла изящную бровь.

– Почему бы нет? Вряд ли он здесь преподает. Может, у нас получится его напоить. Хотя я сомневаюсь, что он придет.

– Можем попросить Адхира его пригласить.

– Адхира?

– Они так много времени проводят вместе... ты не думаешь, что?..

– О чем ты? – подруга рассмеялась.

– Ну, не глупи, Лари, ты прекрасно знаешь, о чем я.

– И о чем же? – судя по всему, она искренне недоумевала.

– Мне кажется, они... ну, ты понимаешь... – она очень ти-

хо договорила, так что я ничего не услышал. Зато прекрасно услышал вопль возмущения, который вырвался у Лари.

– Это отвратительно... ты правда так думаешь? Это так мерзко...

Титания отхлебнула свой напиток и ничего не ответила.

В следующие несколько недель я отметил, что Николас никому конкретно не уделял особенного внимания. Он был со всеми очарователен – когда был в настроении. Или ко всем одинаково холоден. Он помнил имена людей и как-то давал им понять, что не пренебрегает ими. Он был внимателен, если не искренне заинтересован. Думаю, всеобщее внимание ему льстило. И так же легко утомляло.

Но память людей избирательна. И часто они помнят только хорошее, цепляются за приятные моменты. Приветственный жест. Кофе по его рекомендации и за его счет. Совет прочитать ту или иную книгу. Его улыбку. Редкие, бесценные жесты, наполняющие обманчивой надеждой, что нас приблизили, впустили в круг избранных.

Но границы круга были очерчены задолго до того, как мы вообразили, кому позволят за них пройти и как далеко. Он сам был фарфором в собственных руках.

Теперь я это понимаю.

Если он проводил больше времени с Адхиром, то только потому, что Адхир искал его общества настойчивее, чем другие. Выслеживал его в коридорах, с беспечным видом ожидал у ворот, на лужайке, сидя там с книгой в руках. Со-

проводил его на лекции и семинары. Дразнить Николаса никому бы в голову не пришло, но Адхира за спиной часто называли педиком. Некоторые выражались еще менее деликатно. Ты глянь на него, шептали они, на этого говномеса.

В колледже все было пропитано сексом.

Теперь, оглядываясь назад, я понимаю, что это и связывало нас в единый коллектив. Тайна секса и (по большей части) его отсутствие.

Мужские общежития были наполнены духом товарищества. Девушки, бесконечно от нас далекие, жили совсем рядом. Мы были захвачены сложной иерархией, пойманы в ловушку системы юрисдикции, где джатов боялись, пенджабцев презирали, жителей северо-восточной части игнорировали, гуджарабцев поднимали на смех, над тамангами дружелюбно шутили, к бондам относились спокойно, мелеров обожали. За этим следовало разделение по видам спорта, разделение на бездельников и трудяг, крутых и некрутых, ботанов и творческих личностей. Но все сплеталось в общей радостной, расточительной юности. И в чем-то еще.

Мы переходили из комнаты в комнату, делясь сигаретами, алкоголем и враньем. Говорили, обходили проблему, ввиду неловкости щедро пользовались эвфемизмами: ахаться, бабахаться, вдуть, впихнуть, вставить, грохнуть, долбить копченого, завалить, засадить, затащить в койку, загнать трамвай в депо, запустить червячка под панцирь, изучать Камасутру, кувыраться, ломать кровать, оприходовать, отжа-

речь, отодрать, отпороть, отыметь, опылить розочку, перепихнуться, прочистить трубы, прятать колбасу, разрядить ружье, сделать это, сделать зверя с двумя спинами, сделать сам-знаешь-что, секситься, сношаться, спариваться, стучаться, трахаться, тыкаться, чикаться, шпилиться. Продолжать можно было бесконечно – язык был ширмой, за которой мы прятали свою уязвимость и свое желание.

По выходным общежития обычно пустели, потому что студенты отправлялись в Южный Дели или Коннот-плейс – те, кто мог позволить себе выпить в одном из недавно открывшихся баров или посмотреть фильм в блестящем мультиплексе. Я был в Южном Дели несколько раз, проделал долгую поездку на автобусе от межштатного автовокзала у Кашмирских ворот, где толпились машины, извергая дым и рыча, как железные чудовища. Мимо зеленых просторов Радж Гхата и мемориала Махатмы Ганди, мимо оживленного отдела установок и перевозок и огороженной территории Прагати Майдана<sup>12</sup>. Автобус сбавил скорость, въехав в город, проезжая Ладжпат Нагар с его лабиринтным рынком, спокойные окрестности форта Сири, второго по величине города Дели, буржуазно вуалирующего свое жестокое происхождение – он был основан Ала-уд-дином Хилджи на отрубленных головах восьми тысяч монгольских воинов. Оттуда было недалеко до моего пункта назначения, торгового комплекса «Сакет», где располагались магазины с кондиционерами, новенький яр-

---

<sup>12</sup> Площадь в Нью-Дели, где проводятся выставки и конгрессы.

кий «Макдоналдс» и – венец этого творения – роскошный кинотеатр в сине-золотых тонах.

Другие отправлялись в районы, сгруппированные вокруг кампуса колледжа, в квартиры и апартаменты, которые снимали их дальние друзья, на вечеринки, где веселье подпитывалось дешевой выпивкой и марихуаной. Некоторые оставались в общежитии, потому что их не приглашали или потому что они боялись не успеть выполнить домашнее задание. Я тоже проводил воскресные вечера в поиске вдохновения для обсуждения «Ожидания Годо» как экзистенциалистского текста. *Суть экзистенциализма сосредоточена на концепции свободы выбора человека, в отличие от веры в то, что людьми управляет уже существующее всемогущее существо, такое как Бог. Эстрагон и Владимир сделали выбор ждать, не имея ни инструкции, ни руководства...*

После нескольких бесплодных попыток я пробирався в общий зал. В темноте экран телевизора горел напряженно и ярко. Мы, безмолвные души, сидели на полу, достаточно близко, чтобы ногой переключить с одного канала на другой – это было легко, нам недавно подключили Star TV. Музыка сменялась спортом, следом шли новости, фильмы, а потом мы возвращались обратно по головокружительному кругу, кольцу священных древних скал, окруженному поклонниками солнцестояния. Часто я сидел сзади и слушал, как другие спорят о том, что смотреть – решающие моменты теннисного матча между Питом Самprasом и Андре Агасси, про-

шлоготний болливудский блокбастер «Кто я для тебя?» или MTV, где «Нирвана» и «Перл Джем» без конца предавались тоске и апатии.

Разногласия неизменно утихали в одиннадцать. Когда начинались фильмы для взрослых.

Фильмы, сюжет которых никого не интересовал. Психиатр влюбляется в проблемную пациентку. Профессор – в студентку. Юноша – во взрослую соседку.

Свист и шепот раздавались каждый раз, когда с девушки падало платье или когда рука героя начинала ползти вверх по ее бедру. Это был монтаж плоти и желания, лишь в котором и раскрывались образы. Никто не следил за диалогом – все ждали сцен в бассейне, в душе. В комнате, похожей на картинку из журнала, с блестящими кожаными диванами и сверкающими стеклянными столиками (неужели люди в самом деле могли жить так), где они (всегда мужчина и женщина) в обнимку падали на мягкий серый ковер. А потом плавно перебирались на деревянную кровать со смятыми голубыми простынями. Ее обнаженные груди, тяжелые и блестящие, под его рукой. Он резким движением входил в нее сзади, она хваталась за изголовье кровати. Потом – джакузи, оба мокрые, мыльная вода в стратегических местах. Она сверху, выгибает спину. Сцена менялась. Вот они уже в другой комнате, свет струится из высоких окон. Он прижимает ее к столу всем телом. Картинка рассыпается в калейдоскопическом изображении тел, которые изгибаются от удоволь-

ствия. Мало кто уходил сразу же, когда начинались финальные титры. Мы ждали, затаив дыхание, трейлера следующего фильма.

В колледже все было пропитано сексом, но невозможно было о нем говорить.

Изредка они все же случались, искренние разговоры без эвфемизмов. Когда я в середине июля вернулся в Дели, перейдя на второй курс, я обнаружил, что у меня новый сосед. Худой, длинноногий тибетец. Калсанг. К моему облегчению, удивительно ненавязчивый. Он мало говорил, не молился, не задавал мне вопросов, откуда я приехал, почему пишу письма Ленни. Мы делили косяки, но личное пространство было у каждого свое.

Но иногда, поздней ночью, когда становилось чуть прохладнее, мы открывали окно, наполняя комнату сладковатым запахом цветущего вдалеке дьявольского дерева, сап-тапарны. Дорожки, вымощенные булыжником, заливал желтый свет фонарей. В этот поздний час можно было говорить о том, чем люди обычно ни с кем не делятся. Может быть, конечно, такая откровенность была вызвана алкоголем или травой, но мне приятнее думать, что наш случай был исключением.

– Меня лишила девственности двоюродная сестра, – поделился однажды Калсанг. – Мне было четырнадцать, ей семнадцать. Мы были у них в гостях, в Катманду. Меня положили на матрасе в гостиной, а она спустилась вниз... Я так бо-

ялся, что кто-то зайдет... Сам понимаешь, мои предки спали в соседней комнате... Если бы они нас поймали...

– Что бы случилось?

– Не знаю... наверное, убили бы меня.

– Ты с ней еще общаешься?

Долгое, задумчивое молчание.

– Иногда.

Следующей ночью, хотя мне было страшно, я признался:

– Я еще ни разу... ну, ты понимаешь.

– Что?

– Ты понимаешь...

В темноте я увидел, как он выпрямился и сел на кровати.

– Никогда ничем не занимался? – спросил он.

Наверное, не стоило считать мальчика, с которым я «случайно» встречался в туалете или в уголке пустой библиотеки. Того, кто сидел за мной на математике и клал руку мне на бедро, не слишком заинтересованный в тайнах тригонометрии. Дома я дружил только с Ленни, а он почти не говорил ни о девушках, ни с девушками. Так что я не стал рассказывать ему о подруге сестры, о том, как она наклонялась ко мне, когда я сидел за письменным столом: *какой хороший мальчик, все время читаешь...* – и мне открывалось ее декольте. Как она невзначай касалась моей руки, моего плеча, если мы сталкивались в кухне, в коридоре.

В колледже я тоже всегда был один. Неловкий. Испуганный. Неуверенный. Было слишком много незаметных,

негласных правил, которым требовалось следовать. Мне вспомнился Адхир. *Говномес*. Что сделал бы Калсанг, если бы я ему рассказал? Тоже попросил бы переселить его из нашей комнаты?

– Так, значит, ничего? – повторил он.

– Нет.

Повисло глубокое, многозначительное молчание. Наконец его голос прорвал темноту:

– Это нормально, чувак. Говорят, чем дольше ждешь, тем потом круче.

Его слова не могли, конечно, быть правдой ни в этом мире, ни в ином, но вот почему мне нравился Калсанг. Он был удивительно позитивен.

Вероятно, чтобы изменить печальные обстоятельства моей интимной жизни, он начал приглашать меня на вечеринки за пределами колледжа. Но безрезультатно. В основном это были большие сборища – огромные толпы незнакомцев, друзья друзей друзей, – и я уклонялся. И все же в этом было своего рода освобождение. Студенты с окраин, жившие в городе, обретали новую безудержную свободу. Это не могло длиться вечно, но страна менялась. Она раскрывала свои объятия – многорукие, как изображения индуистских богинь, висевших в авторикшах и магазинах, – миру, принимая политику завтрашнего дня. Ту, которая принесла на наши рынки кока-колу, а в наши дома – MTV и Hallmark, ту, которая отпечатала Levi's на наших задницах. Якобы это бы-

ла «свобода выбора». И она проникла в нашу студенческую комнату с ее шаткими деревянными столами и голыми лампами, смятыми простынями и стульями без спинок, покрытыми вечным слоем пыли. Мы могли, если хотели, отправиться в другое место, яркое и блестящее. Туда, где все одевались, как люди из телевизора, и танцевали под новейшую музыку, и считали, что из-за всего этого им невероятно повезло.

– Хочешь поехать? – спрашивал Калсанг.

– Хорошо, поехали.

Ночь ждала, полная возможностей.

Я так никогда и не узнал, было ли что-то между Николасом и Адхиром, или сплетни врани.

За все наше время вместе я так и не удосужился спросить (за все наше время вместе я почти не думал об Адхире). Но порой давно забытые воспоминания вдруг жалят меня. Это сродни тому, как некоторые ассоциации могут показаться совершенно не связанными. Например, вы кусаете грушу и вдруг вспоминаете своего старого учителя математики. Или запах ладана вызывает в памяти песню. У вас может получиться связать их вместе, а может и не получиться – такова сложная система сплетений. На днях, например, я был в индийском магазине за станцией Юстон и остановился возле полки с молотыми специями, лапшой в горшочках и хрустящими закусками. Блестящие, серебристо-зеленые па-

кеты с лакомствами со вкусом масала – вот на что я смотрел и смотрел, не в силах оторваться. Адхир. Они напомнили мне об Адхире.

Здесь, наверное, какое-то объяснение все же возможно.

Однажды утром, в конце сентября, я вышел из кампуса колледжа и побрел в Ридж-Форест, стараясь не думать о новостях последних нескольких недель – здесь был обнаружен труп, наспех спрятанный в подлеске. Несколько недель газеты пестрели заголовками один другого лучше: «Загадочное тело», «Искалечен до неузнаваемости», «Немыслимая стадия разложения».

Впрочем, подобное происходило здесь с обескураживающей частотой. Конечно, трупы находили не каждый день, но Ридж, как большинство древних достопримечательностей, был окутан разными историями. О злобных духах, живущих среди деревьев. О странном создании, похожем на белую лошадь с очень длинной шеей, которое часто можно было увидеть в ночи. О призрачной женщине и плачущем ребенке. Еще было хорошо известно, что здесь, под покровом сумрака и листвы, часто находили приют влюбленные пары.

Честно говоря, я бы предпочел встретить привидение. Мое путешествие по лесу прошло тихо и, к сожалению, без происшествий. Земля под моими ногами хлюпала, размокшая за несколько месяцев муссонного дождя, и в воздухе витал влажный запах разложения. То тут, то там мне попадались на глаза высокий гульмохар, зеленый и пока нецвету-

ций, и акация, усыпанная желтыми цветами. Иногда встречалась маленькая, свесившая тяжелые блестящие листья моя любимая кассия, сиявшая золотом на фоне голубого апрельского неба. Я никогда их не видел, но знал, что в лесу обитают нежные индийские газели и голубоватые антилопы нильгау. Пару раз мне показалось, что я заметил крошечную камышевку и что розовый зяблик пронесся мимо. Лес всегда оставался неизменным, в то время как ландшафт вокруг быстро менялся, обрастая с одной стороны университетскими зданиями, с другой – жилыми кварталами, отделенными от военных зон имперской эпохи, остатков британского владычества. Однако по сравнению с югом города север был относительно статичным.

Юг, простите мое преувеличение, был прекрасным новым миром нашего поколения. На его дорогах внезапно расцвели роскошные кварталы, дороги зашуршали под колесами иномарок. Всюду был неопиcуемый шум движения, всюду витал свежий запах денег.

Все это ужасно пьянило и захватывало дух, но здесь, на севере, за Дантиан Коннот-плейс, нагромождением забитых битком рынков старого города, обнесенного стеной, за давившим бескрайним одиночеством Красного форта жизнь все еще текла медленно и без вмешательства. И в тот день, когда я брел по слякотной грунтовой дороге, слушая звуки леса, я мог быть в считанных милях от многомиллионного города.

*В лесу, сказал мне однажды Ленни, время как бы в ловушке.*

Все согласились, что прогулки по Риджу – не самое их любимое времяпровождение. Но у меня было журналистское задание. В первый год в колледже ко мне внезапно подошел Сантану, долговязый бенгалец со все еще слабо пробивавшимися усиками и тонкими длинными волосами.

– Хочешь написать статью? – спросил он.

– Для чего?

– Для газеты колледжа. – Сантану был незадачливым, но упертым ее выпускающим редактором.

– Не уверен, что справлюсь.

– Ты же на кафедре английской литературы, разве нет?

Я кивнул.

– Все, кто на кафедре литературы, могут писать. По крайней мере, тайно мечтают стать новым Рушди<sup>13</sup> или еще кем.

Привыкший убеждать неохотных будущих журналистов, Сантану легко не сдавался: «Я дам тебе кучу времени», «Ты увидишь свое имя в печати!» и наконец «Я куплю тебе пива».

– Ладно, – сказал я, внезапно поддавшись. С тех пор я часто писал для газеты: статью о самом старом книжном магазине в Камла Нагар, коммерческом районе недалеко от университета; несколько интервью с приглашенными лектора-

---

<sup>13</sup> Британский писатель индийского происхождения (род. 1947), лауреат Букеровской премии 1981 года за роман «Дети полуночи».

ми; рецензию на книгу в духе Чосера: *Он устрицы не даст за весь тот вздор.*

В тот день я бродил по лесу в поисках вдохновения. Вскоре я пришел на поляну, где стояла четырехъярусная башня на ступенчатой платформе, построенная из огненно-красного песчаника, увенчанная кельтским крестом.

Сантану хотел, чтобы я написал о Мемориале мятежа.

Торжественный и скорбный памятник погибшим, одновременно он на протяжении многих лет служил ночным пристанищем для студентов университетов. Здесь совершались самые непретенциозные вечеринки. Деньги, присланные какому-нибудь счастливчику родителями на покупку «чего-нибудь хорошего», тратились на полдюжины аккуратных бутылок виски. Но сейчас здесь было пусто, все вокруг было усеяно следами разгула: окурками, разбитыми бутылками, жирными обрывками газет.

Башня сияла на фоне неба теплом и яростью. Более века назад она была построена британцами в память о солдатах, погибших во время восстания 1857 года (или, как объяснил Сантану, первой индийской войны за независимость). Она возвышалась над деревьями, сплошь состоявшая из симметричных линий, украшенная изысканными готическими украшениями. На стенах висели белые таблички с неразборчивыми именами погибших. Арочный дверной проем вел к верхним ярусам, но через вход была переброшена толстая ржавая цепь, а вывеска на английском и хинди

запрещала подниматься по лестнице. Я заглянул внутрь; пол был завален травой и пакетами из-под травы. Это было трогательно и абсурдно одновременно – прометеевское стремление к воспоминаниям. Достоверно чистая запись истории. Я огляделся, задаваясь вопросом, единственный ли это памятник в лесу. Может быть, над землей высились и другие гигантские надгробия?

В тишине вечера я услышал отдаленное эхо голосов, топот шагов. Это могли быть студенты, решившие выпить или покурить травы. Возможно, влюбленная пара, ищущая уединения. Сквозь деревья я мельком увидел две фигуры. Одна – в длинном синем кафтане. Пепельно-серые волосы. Другая – в рубашке пастельных тонов. Старый портфель в руке.

Меня охватила необъяснимая паника.

Мне захотелось прыгнуть в кусты, но шум мог их насторожить. Что бы я сказал, если бы меня заметили? Было слишком поздно бежать по тропинке, ведущей из леса к главной дороге.

Возможно, лучше было остаться там, где я был.

Если, конечно – меня вдруг осенило – они не пришли сюда, чтобы побыть одни.

Они приближались. Я слышал смех, резкий треск веток.

Я импульсивно перепрыгнул через цепь, натянутую через дверной проем, и нырнул внутрь, нащупал ногой ступеньки, уходящие в темноту.

Из-под ног сыпался рыхлый щебень, в воздухе витала

странная вонь, смесь мочи и заплесневелой сырости.

Их шаги становились громче, ударялись о камни. Я слышал голос искусствоведа.

– Так он это называл... *Lichtung* – немецкое слово, означающее поляну в лесу... Посреди бытия возникает открытое место. Полянка, светлое пятно. Он представлял его как пространство, где может появиться или раскрыться все, что угодно, где раскрываются бесконечные возможности. А вот и она.

Я представил, как они смотрят на башню. Его голос мог быть единственным, звучащим в мире.

– В архитектурном плане в Дели нет ничего похожего на это, – сказал Адхир, – она построена в стиле высокой викторианской готики.

*Это действительно нужно было объяснять историку искусства?*

– Но почему именно это место?

Я не знал, но Адхир рискнул предположить.

– Думаю, здесь во время восстания располагался лагерь британской армии.

Тогда вся эта местность была лесом и болотом.

Они медленно бродили вокруг башни. Искусствовед соединил несколько имен, которые еще были видны, в любопытную мантру – Деламен, Честер, Николсон, Рассел Брукс. Он произносил их осторожно, как будто боясь осквернить их память.

Адхир рассказал, что в 1972 году, на двадцать пятом году независимости Индии, памятник был переименован в Аджитгарх, место непокоренных, и правительство распорядилось установить новую мемориальную доску: *«Враги», чьи имена здесь упомянуты, были новыми мучениками во имя свободы.*

Искусствовед встал в дверях. Накрыл своим телом маленькое озеро света. Мог ли он услышать мое дыхание? Или как-то почувствовать, что я там?

– Это доходит до самого верха?

Мне захотелось подняться чуть выше, но я испугался, что под моими ногами обвалится кусок щебня или даже целая ступенька. Пока что там, где я прятался, они меня не видели.

– Не думаю... это как на Кутб-Минар. Они закрыли лестницу из соображений безопасности.

В тишине я услышал, как раздумывает искусствовед. Вонь стала ощущаться еще острее.

– Вот...

Я представил, как Адхир указывает на вывеску.

– Здесь написано, что это небезопасно. Лучше не рисковать.

Я был благодарен за его осторожность. Искусствовед отошел в сторону. Озеро света вновь всплыло, целое, нетронутое. Я с облегчением пошевелился и про себя пожелал, чтобы они вернулись в лес и оставили меня одного с моей развалиной.

– Пахнет не слишком приятно.

Я слышал их смех, а потом, словно они услышали мою молчаливую просьбу, их голоса и шаги стихли.

Сперва я был не в силах двинуться с места. Мои конечно-сти словно окаменели. Над головой раздался странный шорох. Сова? Белка? Может быть, я потревожил существ, населявших башню. Под моими ногами блестела давно пустая серебристо-зеленая пачка из-под чипсов со вкусом масала. Я подумал – кто мог ее здесь оставить? И почему?

Я начал спуск. Я должен был уходить. Было уже поздно. Я бы предпочел выйти из леса до наступления темноты. Почти спустившись, я увидел, что Адхир и искусствовед пятятся назад. Скорее всего, они подошли только к краю платформы. Я остановился, прижался к изогнутой каменной стене.

Прошло совсем немного времени, но что-то изменилось, и их голоса были до странности напряженными.

– Я знаю, что это такое, – говорил искусствовед чистым голосом, звеневшим в воздухе. – Я знаю, почему... вот почему мы здесь... и все в порядке.

Я не слышал, что ответил Адхир, ответил ли он что-нибудь вообще.

– Я не понимаю, как это могло произойти.

– Конечно... Я... я не знаю, что... Я имею в виду, что я не имел в виду... – я впервые услышал, как Адхир заикается. – Не то чтобы я не понимаю... Я знаю... Я не имел в виду...

– Все в порядке, – повисла короткая, напряженная пауза, прежде чем он продолжил. – Покажешь мне, где мемориальная доска?

– Да... да, это здесь. Сюда.

И вновь их голоса и шаги стихли. Больше они не вернулись.

В те времена, когда мы были вместе, я думал, что это одна из скрытых от меня тайн Николаса. Странность любви в том, что всегда возникает искушение задуматься – вы же не встречали этого человека до определенного момента в его жизни, целый отрезок времени, но каким-то образом все это приняли. Его тяжелое прошлое, полное событий настоящее и (вы так на это надеетесь) нераскрытое будущее. Время от времени я пытался спрашивать – как можно непринужденнее, эллиптически – бывал ли он на прогулках в Ридже, слышал ли истории этого места – о призраках, о странных существах, о парочках и вечеринках внутри монумента. Он хмурил брови.

– Да, мы с Майрой бывали там несколько раз.

Майрой звали его сводную сестру, которая в том году приезжала к нему в Дели на Рождество. Я не любил ее обсуждать, не любил, чтобы она всплывала в наших разговорах; когда она приезжала, я почти не бывал в бунгало, и мы с Николасом не могли побыть вдвоем.

– А бывало что-то странное... в Ридже?

Он смеялся.

– Ну... время от времени, – и больше ничего я не мог от него добиться. В конце концов пришлось оставить расспросы; я не любил испытывать его терпение. Я так и не признался, что подслушал их разговор с Адхиром, не рассказал, как это произошло. Хотя однажды спросил, знает ли он о пруде.

– В лесу? Ты не путаешь?

Я был уверен.

Но когда он спрашивал меня, где именно, я не мог сообщить точное место. Я обнаружил этот пруд в тот день, когда прятался в башне.

Когда я наконец выбрался оттуда, уже наступил ранний вечер, сгустились сумерки, лес спрятал свои тропинки в тени листвы. Теперь это было неподходящее место для одинокой прогулки. Я пытался вернуться назад той же дорогой, какой пришел сюда, но, должно быть, что-то спутал. Сбился со следа, и земля превратилась в пруд. Зеленую, плотную воду, забитую корнями и листьями лотоса. Я стоял на краю, лес вокруг меня блестел скрытым светом. Я повернулся, мое дыхание было тяжелым, на языке остался вкус страха. Что-то ударило меня в плечо, мертвая тяжелая ветка. Когда паника вырвалась из моей груди, как темнота, я увидел грязную тропинку, ведущую к главной дороге.

Когда люди неожиданно уходят... Николас, Ленни... остаются лишь вопросы без ответов; они путешествуют с нами, проникают в наши мысли, становятся близкими друзьями.

– Куда ты идешь? – спрашивал я Ленни, но он не отвечал.

В такие дни он не разрешал мне составить ему компанию, в такие вечера он не возвращался в свою комнату. Грязь, необъяснимая, покрывала колеса его мотоцикла.

Может быть, в одной из таких поездок он встретил Михира. Незнакомца.

Одинокого туриста, который заехал в наш родной город, выехав из северной части страны, высокими горами, широкими реками добрался до наших скошенных улиц. У него были угольно-пыльные глаза и безжалостно сожженная солнцем кожа. Я помню его запах – запах костров, ночей, проведенных на открытом воздухе, запах старой древесной золы. Он говорил мягко, не решаясь услышать то, что он хотел сказать.

Пока я готовился к тому, чтобы как-то сдать выпускные экзамены в школе, Ленни брал Михира на велосипедные прогулки за город, во все чайные, которые он мне показал. В лес. Хозяйка маленького кафе называла их своими бабочками.

Я встречался с ними нечасто – у меня было мало времени, свободного от учебы, дополнительных занятий и родителей, одержимых паранойей, – но когда я их видел, я чувствовал, что Ленни тайно, медленно приходит в себя. Они собирались путешествовать вместе, это было запланировано.

– Куда? – удивлялся я.

И Михир своим сумеречным голосом рассказывал нам, где он был. В Варанаси, встречая рассвет в Асси Гхате, на

горе Сандакфу, откуда можно увидеть Гималаи и четыре самых высоких пика в мире. В скрытом заброшенном форте на побережье Конкан.

Какое-то время Ленни был живым, карта, висевшая у него на стене, светилась обещаниями.

Но жизнь – это потери. И время, или, точнее, течение времени, не приносит понимания. Только попытки понять, присвоить. Безумные попытки выправить прошлое, прежде чем оно ускользнет из поля зрения. Часто я чувствую, что не покинул тот лес. Что я все еще там, заблудился в бесконечном вечере. Спотыкаясь в темноте, ищу поляну, где все возможно.

Если родители Калсанга «убили бы его», узнав, что он спит с двоюродной сестрой, мои сделали бы то же самое, заметив малейшее отклонение от нормы. Так что я был осторожен, всегда сидел в своей комнате каждое второе воскресенье, когда они звонили на общий телефон в коридоре. Он звонил громко и часто, когда работал – то есть когда его никто не ломал с целью поразвлечься и не крал с целью быстро и легко заполучить денег.

Сложнее всего было выдержать разговор с отцом.

Помню, как-то, когда я еще учился в школе, он принес домой с рынка саженец – хрупкий, нежный, в полиэтилене и земле. Он посадил его в нашем саду, думая, что это цветущая гортензия, но выросло нечто совсем другое. Высокая



водой.

– Ничего, пап.

– Что это был за шум?

– Так, ничего.

– Ладно. Как оно все?

– Нормально, – разговоры всегда были перечислением фактов – отрывистым, недолгим, неловким. – Как мама?

– Она здесь... хочет с тобой поговорить.

– А Джойс? Она как?

– Нормально... много работает.

Моя старшая сестра была медсестрой в Калькутте. Мы писали друг другу письма, но жили в слишком разных мирах, которые пересекались, лишь когда мы оба возвращались домой.

Иногда мне хотелось быть немного откровеннее с отцом.

– Я пишу статью для нашего журнала.

– Это по учебе?

– Нет, просто... пишу.

– Когда у тебя каникулы?

Я отвечал на вопрос. Пуджа, Праздник огней, Рождество.

– Надолго?

– Думаю, недели на две.

– Тогда лучше оставайся в Дели... это слишком мало.

– Да, – были другие причины, по которым мой отец предпочел бы, чтобы я как можно реже приезжал в родной город.

– Ладно, поговори с мамой.

Это было облегчением. Мать была легче, эмоциональнее. Она рассказывала о своих заботах – еде, чистоте, жаре.

– Все в порядке, мам, не волнуйся.

– Твоя сестра худая, как щепка. Я ей сказала: как ты можешь лечить людей, когда даже о себе не в состоянии позаботиться?

Я представлял себе лицо Джойс, то, как она с раздражением цокает языком, и улыбался.

– Уверен, у нее тоже все в порядке.

Я давал матери выговориться – двоюродная сестра родила, дедушка попал в больницу, тетя приезжает на выходные. Новости казались мне такими же бесконечно далекими, как далек был я от родного города, стоя в коридоре и прижимая трубку к щеке.

– Ладно, милый... скоро еще поболтаем.

Иногда я все же пытался.

– Мам, есть новости от Ленни?

Резкий вдох, писк телефона. Снова писк. И, несколько секунд спустя:

– Ничего, как обычно. Он по-прежнему там...

– Надолго, мам?

– Пока не вылечится.

И мне больше ничего не оставалось, кроме как пожелать спокойной ночи.

Иногда я пытался представить себе Ленни.

По намекам в письмах, по крошечным деталям, которые

он выдавал, не замечая или не считая их важными. В соседней комнате юноша рисовал черное солнце – картинку за картинкой. Снова и снова, неустойчивые, нескончаемые круги. Может, ты нарисуешь что-нибудь еще, говорили юноше. И он рисовал. Лес, дом, цепочку гор. И закрашивал все черным кругом, закрашивал, пока не ломался карандаш. В комнате справа девушка тихо играла с камнями – пятью маленькими камушками, которые подбрасывала в воздух и рассыпала по земле. Бережно собирала, будто они были драгоценными.

*Нем, я подвешен между небом и землей.*

По вечерам, глядя в окно через узорчатую решетку, он видел серебристый отблеск сосен и вдалеке – неровные очертания холмов, хрупкий лунный диск, ненадежно уравновешенный. Огни города были слишком далеки, чтобы их можно было увидеть. Ночь за ночью сон не приходил. Сон, говорил он, прессовали в маленькие белые шарики, отколотые от луны. Аккуратно скручивали, как его пижаму, промывали чистой родниковой водой, и сон растворялся в ней, как звездная пыль, и плыл до кончиков пальцев рук и ног, до самой макушки.

Интересно, когда он теперь засыпал – гранулы выдавали после обеда. Дама в белом должна была смотреть, как он глотает, но она была легкомысленна и немного нетерпелива. Ей нужно было отдать много сна. Он хранил гранулы в ручке без колпачка. Он почти ее заполнил. Но надо было спать, что-

бы ему не пришлось просыпаться от яркости этой комнаты. Этой квадратной ячейки. Мира, который был слишком зеленым и ранил его глаза. Ему не нужно было видеть, как они смотрят на него, разбитого этой болезнью. Он бормотал про себя строчки, которые помнил. Он где-то читал, что, когда землетрясение погребло под землей целый город, люди под землей спасались, читая стихи.

*Но теперь все эти тяжелые книги мне больше не нужны, потому что, куда бы я ни пошел, слова не имеют значения, и так лучше. Я растворяю их наполненность в безмолвном море, которое ничего не может испортить, потому что ничем не дорожит.*

Он поступал так же. Бормотал стихи по памяти, каждым слогом отмечая ход времени.

Но как долго? И зачем?

Как медленно шло время в темноте.

Видите, прошла всего минута.

Вот и мы, по-прежнему ждем.

Когда что-нибудь случится.

Я представлял, как в его руке, в центре ладони, лежит сон в аккуратных капсулах. Он отвинтил колпачок ручки и наполнил ее, мальчик, собирающий сокровища.

Помнил ли он темную кожу, дрожавшую под его телом? Волосы, переливавшиеся оттенками света и тени? *Это было так стыдно.*

За окном просыпалась луна. Деревья на ветру затихали.

Как ему хотелось оказаться под деревьями, прижать руку к земле. Он говорил, что часто вспоминал, как мы были вместе, он и я, его младший друг. Гуляли в лесу за его домом, курили дешевые сигареты, блуждали между деревьями.

Однажды, в самый глубокий час ночи, когда темнота развернулась во всю свою длину и ширину, он выбрался из кровати, подошел к столу. Маленькому столику у окна. В молочно-предрассветном сумраке, забрызганном последними звездами, он рисовал. Лицо матери, когда она была особенно ранимой, когда приходила к нему в комнату, думая, что он спит и не видит ее, когда она смотрит на него и пытается понять, что принесла в мир. Лицо отца, всегда перекошенное гневом. Таким глубоким, тайным гневом. Лицо незнакомца. Этот рисунок он скомкал, а потом разгладил и отложил в сторону.

Мое лицо. Лицо друга, всегда смотревшего на него с любовью.

Каждый набросок был сделан аккуратно и точно. Он старался освободить память от этих лиц, перенес их на бумагу. Отмечал свое имя на краю каждой страницы, вновь и вновь – *Ленни, Ленни, Ленни*. Он отпускал свои воспоминания. Так он становился легче. Так сон забирал его и уносил в темное, пустое место, где можно было отдыхать вечно.

Из всех вечеринок, на которых я побывал, я помню одну. Помню особенно четко.

По нескольким причинам.

Она проходила в районе Гудзон-Лайнс, районе шатких многоэтажных домов, плотно сбившихся вместе, недалеко от широкого, медлительного канала, забитого мусором. Тихими вечерами воздух наполнялся болезненно-сладким запахом разложения.

Похоже, никто не возражал.

Дети играли в бадминтон на тротуаре, женщины толпились у палаток с овощами, теребя папайю, огурцы и помидоры, пузатые мужчины в жилетах и саронгах лениво слонялись без дела, скромно одетые девушки шли домой после лекций.

Жизнь с вечным запахом разложения.

Пожалуй, ко всему можно привыкнуть.

Мы с Калсангом ехали по разбитой дороге на велорикше. – Тут, – сказал он. Мы остановились перед домом бисквитного цвета, с узкой темной лестницей. Поднялись, спотыкаясь о спящих собак и мешки с мусором, в квартиру на пятом этаже. Из-за двери раздавались глухие, свинцовые звуки музыки.

Даже сейчас, прежде чем войти в комнату, где проходит вечеринка, я какое-то время стою у двери, прислушиваясь и думаю, что лучше мне было бы не приходить. Я чувствую, что вторгаюсь в какой-то тайный ритуал племени, к которому не принадлежу.

Мы вышли на большую террасу, усеянную людьми – кто

сидел в темном углу, кто со стаканом в руке стоял у перил. Казалось, все, кроме моего соседа по комнате, были мне незнакомы. Люди окликали Калсанга, здоровались с ним, спрашивали, есть ли у него «похавать».

Магнитофон в углу лил мелодию в теплый ночной воздух. *но это лишь сладкий, сладкий сон, моя детка...* – несколько человек из толпы, качавшейся в такт, подпевали. *Я закрою глаза, ты придешь меня забрать.*

Я стоял у «бара» – шаткого деревянного стола, заваленного стаканами и крышками от бутылок – и смотрел, как другие танцуют. *Здесь нет начала и нет конца...*

– Я сейчас вернусь, – сказал Калсанг и пропал до конца вечера. Я налил себе холодного пенистого пива.

За моей спиной между вершинами деревьев и проводами мелькали огни города. Интересно, подумал я, виден ли отсюда мемориал восстания? Высоко над деревьями. Дорога внизу, залитая оранжево-желтым светом ламп, начала пустеть. Мимо прошли несколько пар, совершавших вечернюю прогулку. Уличный торговец бойко что-то продавал. Бездомные собаки подозрительно кружили друг перед другом.

Музыка вскоре сменилась, в динамиках зазвучало что-то громкое и оживленное. Танцующие ритмично двигались все быстрее и быстрее. Цеплялись друг за друга, толкались, вопили, пока песня не закончилась и они не повалились друг за друга, разбив чары. К стене рядом со мной бросилась девушка, хохоча и тяжело дыша. Это была Титания. Ее корот-

кие волосы прилипли ко лбу и шее потными кудряшками. Я мельком взглянул на нее – топ, темно-красный, как вино, не доходил до джинсов, в животе мелькнула маленькая искорка – колечко в пупке. Внезапно мне захотелось – пиво быстро ударило в голову – взять его в рот.

– Эй, огоньку не найдется?

– Что?

– Огоньку не найдется? – она ладонью стерла пот со лба, зазвенели браслеты.

– Нет, извини. – Мне хотелось, чтобы у меня была зажигалка. Ее дал кто-то другой.

– Спасибо, – проревела Титания. Я чувствовал запах ее духов, смешанный с сильным запахом пота.

– Ты была очень классной, – ляпнул я.

– Да ну? – выдохнула она, и ее лицо скрылось за клубами дыма.

– В том спектакле, «Сон в летнюю ночь».

Я думал, ей будет приятно, но она закатила глаза.

– Я начинаю думать, что это единственная роль, по которой меня запомнят.

Конечно, я должен был учесть. Что за глупость я брякнул! Я торопливо извинился. Она отмахнулась холодной, беззаботной рукой.

Что надо было делать дальше? Может, предложить ей выпить?

Наш разговор, без того готовый оборваться, закончился,

когда к нам подтанцевала Лари, кружась в пышной юбке. Она со смехом притянула к себе Титанию, потащила обратно на танцпол.

Это было почти облегчением.

Я подумал – интересно, им удалось пригласить на домашнюю вечеринку историка искусств? Наверное, наглости не хватило. И Адхира в подобном месте тоже трудно было представить.

Я налил себе еще пива; вечер, я уверен, обещал быть долгим.

Спустя несколько пинт я, спотыкаясь, вошел в дом, ища туалет. В квартире было пусто, видимо, потому что там было слишком жарко, и потолочные вентиляторы кружили теплый липкий воздух, густой, как суп. Я прошел, по всей видимости, гостиную, заваленную тонкими сложенными матрасами у выдавшего виды телевизора, грязными подушками, тапочками, завешанную шаткими бамбуковыми полками с переполненными пепельницами и грязными журналами.

Наконец я набрел на спальню. На шаткой раскладной кровати лежал матрас, на него торопливо натянули простыню. Рядом стоял стул, заваленный одеждой. Плакаты на стене – «Скорпионс», «Ганс-н-Розес», «Мистер Биг» – напомнили мне о тех, что висели в комнате Ленни. Первая дверь, которую я открыл, вела не в туалет, а на маленький балкончик, заваленный старыми газетами и пустыми бутылками; через него были протянуты бельевые веревки. Мне там понрави-

лось: тихо, вдали от толпы.

Внезапно я услышал, как открылась дверь в спальню.

– Вот, сейчас полежишь немного... – сказал знакомый голос. Я заглянул внутрь сквозь маленькое пыльное зарешеченное окно.

Лари, сжав голову руками, хихикала над тем, как кружится мир, а Титания вела ее к кровати. Сняла со стула какие-то вещи, расправила их.

Лари легла на кровать, закрыла рукой лицо.

– Оой, как ярко!

Титания выключила свет, включила лампу в углу. Свет залил комнату мягким золотистым сиянием.

– Лучше.

– Принести воды?

Девушка покачала головой.

Титания встала на колени на пол, рядом с ней. Они говорили шепотом, я уловил обрывки фраз – *алкоголь... кто это был... музыка... мощный косяк...* Потом Лари спросила:

– Можешь сделать... как тогда?

Титания подалась вперед, погладила лоб подружки.

– Так?

Лари улыбнулась, кивнула. Титания начала гладить ее лицо, мягкими, ласкающими движениями касаясь контуров. Длинных шелковистых волос. Разглаживала. Распутывала. Ее пальцы коснулись шеи Лари, очертаний плеч. Девушка закрыла глаза. Титания вела ладони вниз по ее рукам, перепле-

ла свои пальцы с пальцами Лари. Медленно коснулась груди за тонким шифоновым топом и черным бюстгальтером.

Спустилась вниз по гладкой плоскости живота до верха юбки. Пробежалась пальцами по талии, бедрам, впадине между ними, всей длине ног. Повторяла снова и снова, спускаясь и опять поднимаясь. Лари напряглась, чуть повернулась лицом к Титании. В тишине их лица встретились.

Я ждал за стеклянной стеной.

*Здесь нет начала и нет конца...*

Когда я ушел, было пусто и тихо; лишь сторож колотил своей тростью по земле да где-то звенел гонг. Было три часа ночи. Слишком поздно искать авторикшу. У меня не было выбора, кроме как идти в зал. Дороги были пустынные, лишь несколько полуночников куда-то шли. Бездомные, ненужные, забытые, заброшенные. Я не хотел оставаться так долго, но не мог уйти, пока из комнаты не вышли Титания и Лари. Они ласкались, и обнимались, и нежились, лежа бок о бок, пока не провалились в тишину – я решил, что в сон. Наконец они поднялись, выключили лампу и ушли, пошатываясь, в темноту. Узел в моем животе, эта горячая плотная масса желания, медленно распутывался; я устал, и сон тяжело давил мне на глаза. Я добирался до дома почти двадцать минут – по разбитым тротуарам и клочкам земли, где их не было. Мне показалось, что кампус кишит привидениями. Таким пустым я никогда его не видел. Башня и крест высвечивались темным силуэтом. Я включил в комнате свет. Калсанг

так и не вернулся. Кто-то просунул под дверь записку. Мне звонила Джойс. «Пожалуйста, перезвони».

На следующий день после обеда я пошел к телефонной будке у главной дороги, неподалеку от кампуса. Недавно прошел дождь, и воздух был на редкость свежим, и пыль осела на тротуаре. Странно, что сестра позвонила без видимой причины. Мы поздравляли друг друга с днем рождения и Пасхой, Рождество встречали вместе, позируя для ежегодной семейной фотографии перед елкой. Но не считая этого, практически не общались. Я надеялся, что с родителями не случилось ничего страшного. Нет, я в этом не сомневался; они не стали бы от меня скрывать, что кто-то из них болен или что мне нужно срочно возвращаться домой – не такие они были люди. Все это было внезапно и странно.

У будки я долго ждал, пока тучный джентльмен в полосатой рубашке закончит разговор. Снаружи мужчина с тележкой разливал напитки, добавляя лед из термоса.

– Один стаканчик, – попросил я. Мужчина взял широкую плоскую бутылку, вынул пробку. Напиток тихо зашипел, когда он перелил содержимое бутылки в стакан. Добавил чайную ложку соли, выжал лайм.

Пузырьки приятно покалывали мое горло, холод омывал грудь. В конце концов я втиснулся в душную будку, набрал номер общежития, где жила моя сестра. Я надеялся ее застать.

– Алло, – ответил молодой женский голос.

– Можно, пожалуйста, поговорить с Джойс?

– Минутку, сейчас посмотрю, здесь ли она.

Трубка запищала, все громче и громче. Спустя целую вечность сестра наконец подошла к телефону.

– Джойс, ты звонила?

– Привет, Нем, – ее голос показался мне странным и отстраненным, будто она была совсем чужой и совсем маленькой.

– Все хорошо?

– Ленни... – сказала она.

– Что ты имеешь в виду?

– Ну, я слышала... вообще мне звонили мама с папой... они не знают, как тебе сказать...

– Сказать мне что?

Трубка пищала и пищала, словно пульсация сердца.

– Ленни скончался.

Слова повисли на невидимой нити, протянутой от нее ко мне.

– Мне так жаль... были сложности с его лечением, Нем. Он уснул и не проснулся. – Помолчав немного, она добавила: – Ему было не больно.

Я повесил трубку – сочувственные слова сестры ушли в никуда – и прислонился к двери. Кто-то колотил в стекло, сильно, нетерпеливо. Это был тот мужчина в полосатой рубашке. Он вернулся, чтобы вновь кому-то позвонить. Я заплатил и вывалился из будки. Мимо проехал автобус, выдох-

нув густой клуб серого дыма – он ударил мне в лицо, обжег глаза резким, нездоровым запахом выхлопных газов.

Я наклонился к открытому желобу, и меня вырвало. Сладкая, ничего не содержащая жидкость наполнила мой рот. Я выпрямился, и оно не вернулось. Дыхание, которое мы выпускаем и выпускаем, которое поднимает и опускает нашу грудь. Незаметное, необходимое. Оно застряло в каком-то темном тоннеле внутри меня. Наполнилось зловонием разложения.

Спустя неделю кто-то принес в мою комнату письмо. Почерк был размашистым и наклонным. Почерк Ленни.

Я уже давно ничего от него не получал. В последнее время он писал редко, и даже когда письма приходили, они были короткими, отрывистыми, отстраненными ответами на мои.

Но последнее, что он мне прислал, было не письмом.

Плотный, полный тайны конверт лежал в моей руке, и я нес его на лужайку. Мне хотелось открыть его на свежем воздухе, как будто все, что находилось внутри, не могло уместиться в стенах. Конверт был аккуратно заклеен скотчем; я осторожно его снял. Внутри лежал лист бумаги, сложенный в компактный четырехугольник. Набросок – рисунок карандашом и нацарапанная строчка: *каким я тебя помню*.

Он был удивительно хорош, хотя я понимал, что Ленни сильно польстил моим чертам: глаза были больше, нос длиннее и прямее, лицо изящнее, скулы выше. В свой набросок

Ленни вложил то, чего я никогда не видел в зеркале. Миф обо мне.

Николас однажды его нашел.

Он рылся в стопках книг — своих и моих, изумительно смешавшихся, как наши жизни за прошедшие несколько месяцев, — и сложенная бумажка упала на пол. Он поднял ее.

— Нужно вставить в рамку! — воскликнул он, показывая ее мне и улыбаясь.

— Нет, — я попытался выхватить у него бумажку.

— Почему? Он восхитителен!

Я вырвал рисунок у него из пальцев и сунул в карман. Этот набросок был единственным, чего я бы ему никогда не отдал.

— Это от Ленни, — я помню, как Николас посмотрел на меня, помню его глаза, темные и внимательные, следившие за моими движениями.

Мы были в кабинете, лежали на диване.

— Ты говорил мне, что его кто-то убил, — мягко сказал Николас. — Почему ты так решил? Что ты имеешь в виду?

Профессор Махесар в своей лекции не упомянул, что признание, хотя и является неотложной и примитивной потребностью, может проявиться только тогда, когда привязанность к человеку, которому вы раскрываете тайну, пересиливает привязанность к тому, кого вы предаете. Хотя бы на мгновение. И я ему объяснил.

Кто отправил Ленни туда, где он был теперь — был нигде,

ником, ничем, отсутствием.

Незнакомец с угольно-пыльными глазами и безжалостно сожженной солнцем кожей.

Тот, кто пах холодными ночами и костром. Ленни брал его на велосипедные прогулки за город, во все чайные, которые он мне показал. В лес. И однажды привел к себе в комнату, когда дома никого не было. Но его отец вернулся раньше времени и почему-то сделал то, чего обычно не делал. Он спустился в подвал.

– Он нашел их там, – рассказал я Николасу. – В постели, переплетенных, кожа к коже.

И хотя я много лет думал об этом, воображая бесчисленные сценарии, это единственный момент, который я не могу себе представить.

Просто тьма. Чистое пятно. Открытая могила.

Отец Ленни кричал? Его рвало? Он подбежал к Ленни и ударил его по лицу? Оттащил его, обнаженного, убитого стыдом? Обвел взглядом своего сына в объятиях незнакомца и молча вышел?

*«Они бы меня убили...»*

Все остальное я представляю себе кристально ясно: комнату со странными углами, воздух, пропахший дешевым табаком и старыми книгами. Карту на стене. Кровать. *Кровать.*

Семья Ленни старалась сохранить это в тайне.

– Но ты же понимаешь, – спросил я Николаса, – как быст-

ро расходятся новости в маленьком городке?

Где все друг друга знают. Слухи разрастались, как заброшенные дикие сады, слова, как бабочки, перелетали с языка на язык.

Конечно, надо было скрывать – отец Ленни был уважаемым церковнослужителем, мать – директором знаменитой в городе школы при монастыре. Это была болезнь, и ее нужно было лечить. Ленни отправили далеко за город, в психиатрическую больницу, расположенную среди соснового леса в семь акров. Она носила сложное название, означавшее «расти под защитой». Как бы я хотел надеяться, чтобы это было правдой.

– Вы больше не виделись? – спросил Николас. Я покачал головой.

– Я лишь писал ему письма.

Когда это случилось, я только что закончил школу. Спустя неделю мне предстояло сдавать выпускные экзамены. У меня не было планов на потом, на то, что все называли будущим. И я думал, что мой отец хочет обсудить именно это вечером, когда он велел мне зайти к нему в кабинет.

Но когда я вошел, я увидел в его глазах что-то, чего в них раньше никогда не было – смущение.

– Я хотел поговорить с тобой о... – он осекся. Выжидал. Он не произнес больше ни слова.

Я знал, что слухи о Ленни, которые расплзлись по городу, добрались и до его ушей. Я ожидал криков и проклятий,

возмущений и упреков. Я же тебе говорил... я говорил... я говорил... я говорил, что он отвратительный мальчик. Я говорил, держись от него подальше.

Но вместо этого отец спросил с удивительной робостью:

– Он что-нибудь с тобой делал?

Я был слишком шокирован, чтобы ответить.

– Скажи мне, делал?

Это разрасталось в его взгляде. Крутилось на его языке.

– Он... тебя трогал?

Слова повисли в воздухе, рассекли пространство между нами. Я покачал головой.

Может быть, это сменилось облегчением. Отец опустился на стул.

– Лучше тебе больше с ним не видаться.

– Но почему?

– Так лучше.

Я положил руки на стол, сжал их так крепко, что побелели костяшки.

– Ему нужно побыть с семьей. Понимаешь, Ленни... он болен. Мы с мамой не хотим, чтобы ты с ним общался...

*Это заразно.*

Я молчал.

Отец закончил разговор.

– Думаю, я все понятно объяснил.

Его слов было недостаточно, чтобы я больше не хотел общаться с Ленни.

Родители отправили меня в Дели. Они решили, так будет лучше. Они слышали о хорошем местном колледже, основанном на здоровых христианских принципах, колледже, где студенты жили в кампусе, где можно было учиться тем, кто, как я, приехал из мест, далеких от столицы, считавшихся неблагополучными и маргинальными.

Меня отослали.

Меня вручили Николасу на блюде. Видимо, это и есть судьба.

Если измерять время морганием ресниц бога, я не выходил из своей комнаты миллион лет.

Я не знаю, случилось ли это на следующий день или на следующей неделе – может быть, прошел месяц? – после того, как я узнал о Ленни. В какой-то момент, в какой-то день, перед рассветом, когда бормочущие голоса стихли и тьма засияла светом, казалось, исходящим из ниоткуда, я вышел из общежития и побрел по выложенной кирпичом дорожке, прочь от кампуса, в лес. Я пробирался сквозь камни и подлесок, листья блестели от сырости. Кажется, светила луна. Древняя, смотрела сквозь ветви угольных деревьев. Воздух, неподвижен и тих, пульсировал неизвестностью.

Я добрался до башни. Высокой башни из песчаника, в которую я вошел и поднялся наверх, потому что сверху мог увидеть все причины. Воздух наверху был свежим, полным обещаний. Здесь я мог вырваться из тисков всеобъемлющей

и всепроникающей тяжести. Я почти дошел до конца, когда внезапно мне стало не на чем стоять. Это было прогулкой по воде. Падением сквозь воздух.

Я лежал, свернувшись клубочком, у подножия винтовой лестницы. Пол, холодный и зернистый, касался моей кожи. Спустя несколько часов в дверном проеме появилась фигура и остановилась в бледном прямоугольнике света. Его брови нахмурились, руки нерешительно протянулись, чтобы остановить падение, которое уже произошло.

Я не поднимал глаз, не спрашивал, куда и зачем, когда меня то ли вели, то ли несли в лес, мимо деревьев, зеленых и благоговеющих. Я чувствовал боль, но не мог сказать, откуда она возникла – она, казалось, окружала меня, густая, как влажный воздух позднего лета. Через некоторое время мы вышли на широкую дорогу, обсаженную деревьями гульмохар, залитую великолепной тишиной.

Медленное, настойчивое мурлыканье проезжающей машины. Слабый звон колокольчиков. Мы остановились у ворот, откуда выскочил мужчина. Они обменялись репликами, короткими, приглушенными. Вскоре я почувствовал, что мы в помещении, в прохладном коридоре с высокими потолками – скрип дверей, топот шагов, женский голос. Нежные, как хлопок, руки подняли меня, на секунду подвесили в воздухе, как только что, когда я падал, а потом наступило внезапное освобождение, и мягкая гладкая плоскость бесконечно тянулась подо мной, как снежное поле.

Безошибочный запах свежего белья. Что-то острое и лимонное. Тепло ветра и солнца. Горячее прикосновение, ткань на моей коже, грубая, рыхлая и влажная.

Что-то очищало меня, слой за крошечным слоем. А потом навалилась глубокая, темная милость сна.

## II

За все эти годы я понял, что самая большая ложь – циферблат.

Время не висит на стене. Не тикает на запястье. Оно сокровеннее и интимнее. Оно, вопреки всем представлениям, никуда не течет. Ничуть не похоже на мурлычущую реку под мостом. В нашей голове оно бежит, торопится, останавливается, спотыкается. А иногда растворяется. Просто перестает существовать.

Николас исчез в прошлом веке.

(*Ни. Ко. Лас.* Как легко его имя слетает с моего языка даже после стольких лет, даже когда я разбиваю его на слоги, раскалываю, как скорлупки.)

Прежде чем перевернуться, календарь заблестел нулями, тремя подряд, порталами, глядящими в бесконечность моря. Что они принесли на горизонт?

Все новое. Много старого. Я закончил учиться и вновь продолжил. Получил степень магистра по английской литературе, перебрался на юг города. Мой родной город стал калейдоскопом, картинками редких визитов – Рождество, смерть дедушки, рождение племянницы.

Я искал самые простые варианты, приемлемые для тех, кто получил гуманитарную специальность – вакансии редактора в недавно открывшихся издательствах. Но никогда –

на телевидении. Или в газетах. Их краткие ежедневные сроки, их массовое, неумолимое производство изображений и текста казались мне категорически неприемлемыми. В конце концов я устроился редактором в журнал. Это была спокойная работа, хотя и не слишком интересная, пока из-за отсутствия коллеги я не начал заниматься творческими страницами. Я наполнил их раз, другой, потом отсутствующая коллега перебралась в Бомбей, и мой редактор воспринял как само собой разумеющееся, что я продолжу ее дело, что я и сделал.

Если в прошлом десятилетии в Дели были посеяны семена капитализма, то в этом они быстро взошли. Только сейчас стало возможным шесть страниц журнала посвятить искусству. И столько же – шопингу, концертам, ресторанам, ночным клубам, культурным мероприятиям. В Южном Дели новая галерея открывалась чуть ли не каждый месяц – в богатых районах, где были дома из мраморного кирпича и зеленые улицы, таких районах, как Гольф Линкс, Панчшил, Дефенс Колони, Нити Ба, в таких, как раньше никому не нужный Ладосарай и индустриальный Окла. Наш журнал наводнили открытия инсталляций, видеопозоров, выставок фотографий – я посещал их, я брал интервью у художников, я сидел в переполненных арт-галереях каждый будний день и наслаждался искусством – иногда оно мне нравилось, иногда было противно. Этим я занимался три года, пока не вернулась моя отсутствующая коллега.

Нити, конечно, не стала отбирать у меня мою работу. Но

предложила мне новую.

Писать для нового, посвященного новому искусству и культуре журнала из маленького, но далеко не скромного офиса в Дели.

Это было захватывающее занятие – у меня появилась возможность писать развернутые исследовательские статьи. Нужно вдохновлять читателей на новый подход, на эксперименты, – сказала она, резко и коротко затягиваясь сигаретой. Почему искусство всегда на последней колонке страницы? Срослось с развлечениями, как чертовы сиамские близнецы?

Журнал выходил раз в месяц, что после работы в еженедельнике казалось немыслимой роскошью. У меня было время сосредоточиться на идее и мастерстве. Я открыл для себя «Руководство по изобразительному искусству» Марджори Мюнстерберг. «Искусство видеть» Джона Бергера. «Научиться смотреть» Джошуа Тейлора.

Не знаю, обратился ли я к искусству или оно обратилось ко мне. Возможно, нас влекло друг к другу взаимное желание.

Видите ли, я всегда думал, что люди пишут, рисуют, сочиняют музыку, чтобы остаться в памяти. Как сказал Филип Ларкин<sup>15</sup> – в основе всего искусства лежит стремление сохранить. Чтобы мы не забыли.

Творческие работы – прекрасные шрамы.

Следующие несколько лет наш журнал процветал. Благо-

---

<sup>15</sup> Британский поэт, писатель и джазовый критик (1922–1985).

склонное внимание, несколько наград, стабильно растущее число подписчиков. Я продвинулся по службе. Стал помощником редактора.

Перебрался из тесной однокомнатной квартиры в Малвиа-Нагар в гораздо более комфортную однокомнатную квартиру на востоке Кейлаша. Вечера проводил в компании, если кто-то хотел зайти, если нет – читал, слушал радио, бродил по просторам Интернета, переходя с сайта на сайт, убивая время. Как-то принес домой бездомную кошку, и она порой спала у меня на коленях, когда я писал. Ночью, беспокойная, шаталась по дому. Однажды вечером ушла и больше не вернулась.

Какое-то время, между делом, я встречался с Кларой. Она работала в издательстве, главный офис которого располагался в Лондоне, а в Индию переправлял заказы. Офис на Стрэнде уменьшился до одного этажа, а филиал в Дели разросся до гладкого здания из стекла и металла, вмещавшего две тысячи, а то и больше сотрудников. Каждый год между городами проводился шестимесячный обмен. Что касается самой Клары, я бы назвал ее... жизнерадостной. Ее волосы были цвета летней пыли. Она была полна энтузиазма. Радостно погружалась во все, что попадалось ей на пути. Праздник весны, катания на слонах, свадьбы в сари, марафон в Дели, сафари на джипах в Рантхамборе. Все это можно увидеть на ее странице на «Фейсбуке», в альбоме под названием «Индия!». На нескольких фото есть и я – среди людей, выпи-

вающих и обедающих в ресторанах богемного района Хаус Хас Вилладж, в толпе перед мавзолеем Хумаюна<sup>16</sup> и Красным Фортom, на рынке в Чандни Чоук. В кафе на узкой улочке Гали Паранте Вали. На вечернем сеансе каввали<sup>17</sup> в мавзолее Низамуддина<sup>18</sup>. На пикнике в садах Лоди.

Чаще встречаешь не любовь, а мимолетные знакомства.

Тут и там, на вечеринке, за выпивкой после театрального показа. В рискованном путешествии в темные закрытые кварталы Дели, которых я не видел при дневном свете и куда никогда не возвращался. Короткие, неуклюжие набегии на съемные комнаты, видевшие бесконечные связи и тысячи форм желания. Прохладные барсати – комнатки на крыше, нависшие над цветущим жасмином, где наше прерывистое дыхание, казалось, слышали звезды. Большинство любовниц я помню по их странностям – ту, что любила, когда лизали ее запястье, ту, что всегда смотрела в зеркало, ту, что требовала, чтобы я сжимал ее шею. Тату на внутренней стороне бедра, мокрое и скользкое – дельфин в прыжке.

Для большинства из нас эти годы были ничем не отмечены.

Мы с удивлением обнаруживаем, что события нашей жизни – эта встреча с другом, эта поездка в Каир, это случайное

---

<sup>16</sup> Второй падишах Империи Великих Моголов (1508–1556).

<sup>17</sup> Религиозная индийская музыка.

<sup>18</sup> Один из наиболее значимых суфийских святых из ордена Чиштия (1238–1325).

воссоединение – произошли так далеко в прошлом. Пару лет назад, – начинаете вы и тут же поправляете себя: нет, не пару, а шесть.

И мы идем вперед, погрязнув в воспоминаниях.

Хотя парадокс памяти в том, что она возвращает вам то, что у вас было, при условии, что вы признали это потерянным. Чтобы вспомнить о чем-то, вы должны не забывать, что оно ушло; чтобы переделать мир, нужно сначала понять, что он закончился.

С тех пор прошло уже больше десяти лет, и я не совсем уверен, стал ли теперь мир удивительно умным или невероятно глупым. На его краю были две башни, но я предпочитаю не считать прошедшие годы войной, террором или чем-то еще. Мы были где-то в центре цунами. В отличие от ураганов, у цунами нет названия.

Просто цунами – слово, которое скатывается с языка, как волна.

К концу десятилетия произошла великая сокрушительная экономическая катастрофа.

И она задержалась, как же она задержалась.

А что касается Николаса, мне кажется, он выцвел во мне, медленно, тихо, как выцветает ночь и приходит утро. Ни. Ко. Лас. Я разбил его имя на три слога и запрятал подальше. Нет, я не так часто о нем вспоминаю. Он только вкус. То, что определяет мой аппетит.

Вот что надо знать об отсутствии – жизнь находит, что по-

местить в пустое пространство. *Horror vacui*, боязнь пустоты – вот что это такое. Время заполняет пустоты, заклеивает и запечатывает.

Проблема в том, что все повторяется вновь.

То, чего больше нет, формирует нас в меньшей степени, чем то, что может вернуться. Полагаю, всего этого могло бы никогда не случиться, если бы я не переехал в Лондон.

Когда я сказал знакомым в Дели, что уезжаю на год, они ответили, что очень за меня рады.

– Ах, если кто-то в юности жил в Лондоне, то, где бы он ни провел оставшуюся жизнь, Лондон будет с ним, потому что Лондон – это праздник, который всегда с тобой.

– Париж, – поправил я. – Это о Париже.

Но, как я потом понял, это не имело значения. Все эти города были идентичны, покрыты одной и той же сияющей, сверкающей магией, и потому их имена произносили с приглушенным благоговением, как молитву.

Я не был в Париже, но, побывав в Лондоне, увидел, что он залит старым светом.

Когда я туда приехал, наступила осень, и я хотел, чтобы деревья оставались такими навсегда. Мерцающий огонь, бросающий пламя людям на плечи, к их ногам. Время открытий, как правило, молодость – первый поцелуй, первый секс, алкоголь, наркотики. Мне было чуть за тридцать, и я открыл для себя новый сезон.

Совершенно новый сезон.

Я ощущал себя довольным собой. Это было откровением. Мир кончался и тоже по-своему обновлялся.

В условиях кризиса, финансового и в целом, журнал чуть не свернулся. Моя коллега думала о том, чтобы вернуться в Мумбаи. Она называла себя йо-йо, потому что постоянно раскачивалась между двумя городами.

А я?

Я был потерян. Не то чтобы у меня не было вариантов – многие галереи по-прежнему оставались открытыми, люди по-прежнему покупали и продавали искусство (кстати, это было хорошее время для инвестиций, сказал один мой проницательный знакомый, потому что цены здорово снизились. «Уорхол за гроши»). Шла речь об открытии крупного частного некоммерческого художественного центра на окраине Дели, среди высоких стальных и стеклянных конструкций Гургаона. Им определенно требовались люди.

Сначала я погрузился в бурную деятельность, обновляя свое резюме, пытаюсь наладить встречи со всеми нужными людьми... а потом? А потом я остановился. Не только потому, что журнал чудом уцелел – просто я устал.

Город был тяжелым местом. Полным кровосмесительных компаний и мелкого соперничества. Я чувствовал, что сбежал из маленького города ради того, чтобы большой сжался вокруг меня, как петля.

Огромные, могучие пространства Дели казались такими тесными. Скручивались в нечто плотное и никуда не годное,

как то, что плыло по Джамне.

Так я оказался в Лондоне.

Но разве не приятнее было бы приписать это обстоятельство причинам более высоким и интересным, чем желание сбежать? Посчитать его волей случая или предопределения? В греческой мифологии Мойры – три сестры в белых одеждах, которые контролируют судьбу человека. Клото, прядущая нить жизни, Лахезис, определяющая ее длину, и Атропос, перерезающая. Если наша жизнь – нить, тонкая и серебристая, легко представить, что нити переплетены по всему земному шару, иногда расходятся, чтобы никогда больше не касаться друг друга, а порой неожиданно встречаются и переплетаются.

Это и случилось со мной и Сантану.

Закончив университет, мы изредка общались. Нас разбросало по свету, как горсть семян. Я остался. Он покинул Дели ради какого-то другого города. На тех немногих встречах выпускников, на которые я приходил, его не было. На других не было меня. Пьяные тусовки в кампусе и за его пределами, где старые знакомые и враги обменивались телефонными номерами и любезностями.

В прошлом году я решил отправить ему электронное письмо. *Не знаю, помнишь ли ты меня. Я писал для газеты, редактором которой ты был.*

Он ответил быстрее, чем я ожидал. *Нем, ты единственный, кто сдавал статьи в срок. Как я мог тебя забыть?*

Многообещающее начало.

Я объяснил, что меня интересует грант Королевского литературного фонда в колледже, где он был старшим преподавателем. В Центре культурных и литературных постколониальных исследований.

Я мог и сам подать заявку на грант, но мне требовалось, как они это называли, формальное назначение. Грант длился год; это было престижно и для Центра, и для Сантану. И для меня тоже неплохо: работать несколько дней в неделю, поддерживать талантливых студентов и способствовать «хорошей письменной практике» по всем дисциплинам.

Ответ Сантану был весьма лаконичным. *Конечно.*

После этого остались только формальные вопросы и оформление документов.

Я подал заявление на отпуск. Оно было отклонено.

– Есть такая вещь, как Интернет, – сказала Нити. – Ты можешь работать из любой точки мира.

А потом был бесконечно долгий полет на самолете, движение, свободное, неподвластное времени.

По вечерам, как правило, мы с Сантану встречались в баре через дорогу от места его работы, неподалеку от старого здания «Фабер и Фабер», где, как я узнал, когда-то был редактором Т. С. Элиот<sup>19</sup>. С 1925-го по 1965-й. Если у бара и было название, я его не помню. Управляемый студен-

---

<sup>19</sup> Американо-британский поэт и драматург, представитель модернизма (1888–1965). Лауреат Нобелевской премии по литературе 1948 года.

ческим союзом, он представлял собой спартанское заведение с белыми меламиновыми стойками и серебристо-серыми металлическими столами. Доска, исписанная мелом, сообщала о предложениях дня, скидках на сангрию, продленных счастливых часах, фестивалях бельгийского пива. Простое, неприязнательное, надежное место. Как писал Хэмингуэй, «Там, где чисто, светло». В студенческие годы Санта-ну, низенький, длинноволосый, в вечных шлепанцах, скользил по коридорам, сжимая в руках стопку бумаг и папок. Он изменился – стал опрятнее одеваться, носить нарядные закрытые туфли – но, похоже, не стал взрослее, его костлявое скульптурное лицо по-прежнему было мальчишеским и вечно небритым, а волосы – длинными, что означало легкий бунт. Как это неизбежно у людей, привязанных к прошлому, мы часто говорили о старых знакомых, вспоминали истории, граничащие с трагическими и полные надежд. Обсуждали тех, кто женился, обзавелся детьми, уехал или остался. Тех, кто исчез из памяти. *Ты помнишь?.. Что случилось с...? Ты слышал о...?* Имена всплывали и уплывали, кроме одного. *Николас.*

Однажды мы зашли в знаменитый «Маркиз» в конце Марчмонт-стрит, тихой, ненавязчивой улицы в Блумсбери. Обстановка там была попроще, в стиле арт-нуво: бледный бело-голубой фасад и широкие арки над дверью и окнами. Яркий полосатый навес туго растянулся над тротуаром, прикрывая ряд пустых скамеек. Мы, в темных зимних куртках,

казались парой птиц.

– Это гастро-паб, – сказал Сантану, – где картофель нарезают вручную и где все органическое.

Судя по его тону, это не сильно его впечатляло. Тем не менее мы зашли туда, чтобы по-быстрому выпить.

Внутри было слишком много дерева, гладкого и отполированного, как интерьер корабля. Низкие стулья и столы, а по краям – обитые стеганой тканью темно-бордовые кушетки. Приглушенный, уютный свет заливал обшитые панелями стены и паркетный пол. Мы направились к бару, стойке с ореховой столешницей и выстроенным в ряд пивным насосам, блестящим, как золотые доспехи.

– Что я могу вам предложить? – Девушка за стойкой казалась удивительно веселой для человека, которому приходится задавать этот вопрос по сто раз в день. Ее осенне-рыжие волосы были скручены в пучок, но несколько мятежных прядей высвободились и свисали у лица. Если бы она развязала волосы, она стала бы похожа на деву с картины кого-нибудь из прерафаэлитов. (Или, поскольку они творили в Викторианскую эпоху, милую кающуюся проститутку.)

– Пинту «Гиннесса», будьте добры.

Я предпочел бы виски, но, пожалуй, для него было слишком рано.

– Мне то же самое.

Мы чокнулись стаканами. Стаут был великолепно прохладным, послевкусие – долгим. Я уже научился наслаждаться

ся этим рубиново-богатым напитком с горьковатыми нотками, одним из наименее странных напитков, на которые меня соблазнил Сантану. Он сам себе определил миссию – перепробовать все возможные сорта эля в этой стране – и сделал меня своим добровольным соучастником. Все новые сорта, которые мы пробовали, он заносил в маленькую черную тетрадь. «Хуки Биттер», «Олд Эмбер», «Харвест Пейл», «Ворддингтон Уайт Шилд», «Олд Спеклд Хен» и мой любимый «Шипшеггерс». Однажды, заявил Сантану, когда ему надоест рассказывать об эволюции бенгальской культуры с семнадцатого по девятнадцатый век, он напишет книгу об антропологии пивоварения. «Культура пива и политика идентичности». Я согласился, что это достойный проект.

Сквозь большие окна я мог видеть тротуар, людей, совершавших вечернюю пробежку; матерей, толкающих коляски; покупателей с раздутыми пакетами из «Вейтроуз»<sup>20</sup>; студентов многочисленных колледжей, сбившихся в кучу возле Расселл-сквер; упакованных в костюмы и излучающих уверенность в себе сотрудников корпораций. Лондон, который я представлял себе как гигантский часовой механизм, вращаемый душами. Сантану. Барменшей с картины прерафаэлиты. Порой даже мной. Каждое движение и взаимодействие было рябью за пределами нашего зрения.

---

<sup>20</sup> Бренд британских супермаркетов.

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.